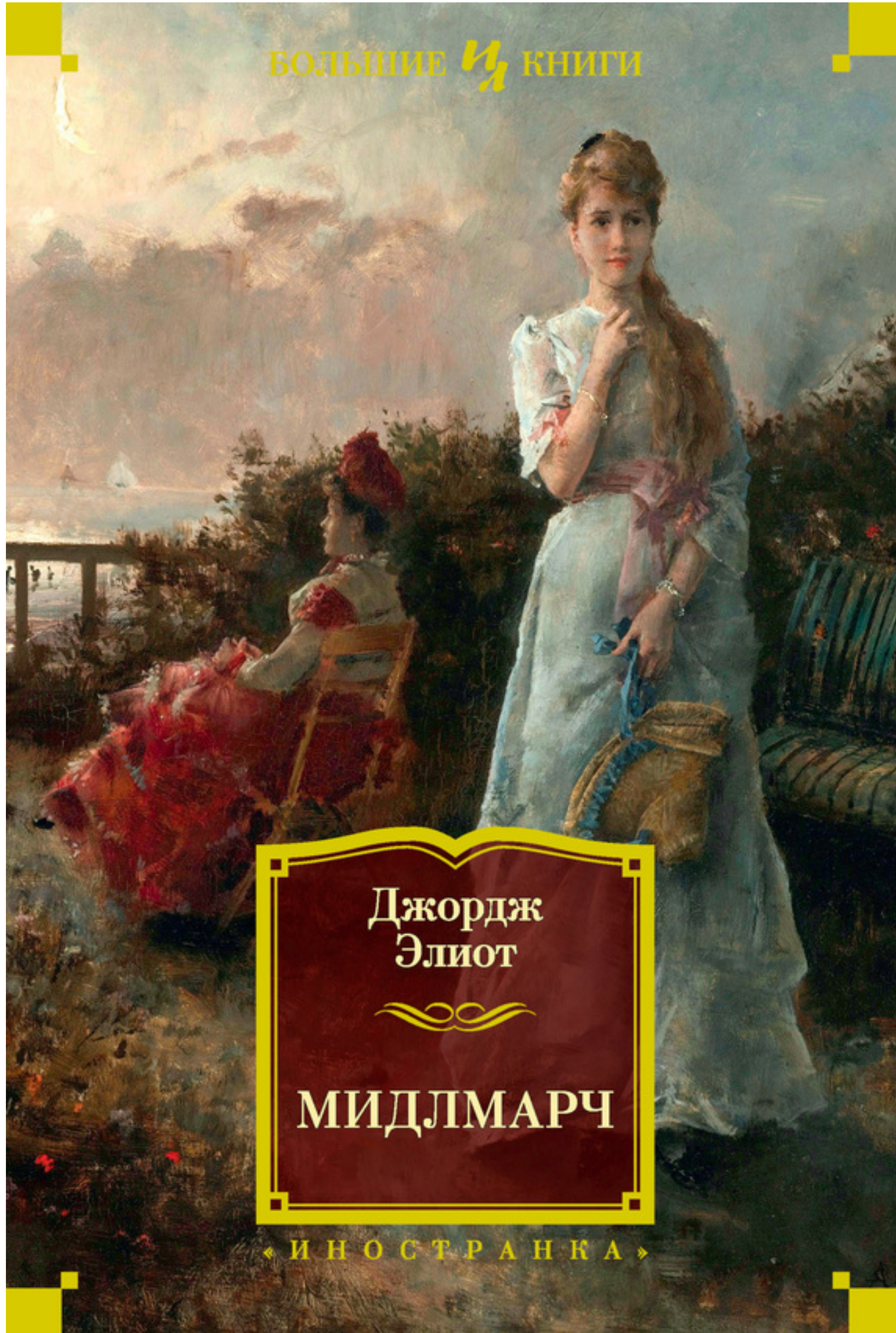


БОЛЬШИЕ И КНИГИ



Джордж
Элиот



МИДЛМАРЧ

« И Н О С Т Р А Н К А »

Иностранная литература. Большие книги

Джордж Элиот

Мидлмарч

«Азбука-Аттикус»

1872

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

Элиот Д.

Мидлмарч / Д. Элиот — «Азбука-Аттикус»,
1872 — (Иностранная литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-12438-7

Мэри Энн Эванс, писавшая под псевдонимом Джордж Элиот, вошла в историю английской литературы как один из выдающихся мастеров поздневикторианского романа. Роман «Мидлмарч» – главное произведение писательницы, подлинный шедевр, в котором нашли свое отражение все главные идеи, характеры и сюжетные ходы английской литературы конца XIX века. Место его действия – провинциальный городок в Средней Англии со всеми его тайнами и загадками, скрывающимися за красивыми фасадами благоустроенных домов. «Посетив» Мидлмарч, читатель найдет здесь достаточно развлечений для сердца и ума: неудачные и счастливые браки, аферы с наследством, лживые светские условности, интриганы всех мастей и добросердечные пастыри, истинная любовь и ветреные измены... Недаром роман «Мидлмарч» присутствует во многих списках лучших книг всех времен, – богатый событиями, он сочетает в себе классическое изящество стиля с увлекательностью сюжетных перипетий.

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-389-12438-7

© Элиот Д., 1872
© Азбука-Аттикус, 1872

Содержание

Прелюдия	6
Книга I. Мисс Брук	7
Глава I	7
Глава II	13
Глава III	18
Глава IV	25
Глава V	30
Глава VI	36
Глава VII	43
Глава VIII	46
Глава IX	50
Глава X	57
Глава XI	64
Глава XII	70
Книга II. Старость и юность	81
Глава XIII	81
Глава XIV	87
Глава XV	93
Глава XVI	101
Глава XVII	110
Глава XVIII	116
Глава XIX	123
Глава XX	126
Конец ознакомительного фрагмента.	132

Джордж Элиот

Мидлмарч. Картины провинциальной жизни

© И. Гурова (наследник), перевод, комментарии, 2016

© Е. Короткова, перевод, 1981

© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016

Издательство Иностранка®

Прелюдия

Тот, кто ищет узнать историю человека, постигнуть, как эта таинственная смесь элементов ведет себя в разнообразных опытах, которые ставит Время, конечно же, хотя бы кратко, ознакомился с жизнью святой Терезы и почти наверное сочувственно улыбнулся, представив себе, как маленькая девочка однажды утром покинула дом, ведя за руку младшего братца, в чаянии обрести мученический венец в краю мавров. Они вышли за пределы суровой Авилы, большеглазые и беззащитные на вид, как два олененка, хотя сердца их воспламеняла недетская идея объединения родной страны, – но затем их настигла будничная действительность в облике рассерженных дядюшек и они вынуждены были отказаться от своего великого решения. Это детское паломничество явилось достойным началом. Страстная взыскующая идеала натура Терезы требовала и искала подлинно эпического жизненного пути – что были ей многотомные рыцарские романы или светские успехи, венчающие красоту и ум? Ее пламя быстро сожгло это легкое топливо и, питаемое изнутри, устремилось ввысь на поиски некоего бесконечного восторга, некоей цели, которая не может приесться и позволяет примирить пренебрежение к себе и упоение от слияния с жизнью вне собственного «я». И она обрела свою эпопею в преобразовании монашеского ордена.

Конечно, эта испанка, жившая триста лет назад, была не единственной и не последней из подобных ей. Рождалось много таких Терез, которым не удалось найти для себя эпический жизненный путь, не удалось целиком отдаться живой и значительной деятельности. Быть может, уделом их становилась жизнь, полная ошибок, порожденных духовным величием, так и не получившим случая проявить себя, а быть может – трагическое разочарование и гибель, которые не обрели вдохновенного поэта и неведомыми, неоплаканными канули в небытие. В полутьме, в житейской путанице они пытались сохранять благородную гармонию между своими мыслями и делами, а пошлым глазам борьба их представлялась бессмысленными метаниями, ибо эти поздно родившиеся Терезы не находили опоры в устремлениях и надеждах всего общества, которые для пылкой души, жаждущей применения своим силам, заменяют знание. Их пыл искал выхода в служении какому-то неясному идеалу или отдавал их во власть чисто женских порывов, но первое объявлялось эксцентричностью, а второе беспощадно осуждалось как нарушение морали.

По мнению некоторых, причина этих беспомощных блужданий заключается в том, что Высшая Сила, создавая женскую натуру, не избежала неудобной неопределенности. Если бы существовал единый четкий уровень женской никчемности – например, способность считать только до трех, – общественный жребий женщин можно было бы оценивать с научной достоверностью. Но неопределенность существует, и пределы колебаний в действительности много шире, чем можно было бы подумать, судя по однообразию женских причесок и любовным историям как в стихах, так и в прозе, пользующимся неизменным успехом. Тут и там в утином пруду среди утят тоскливо растет лебеденок, который так никогда и не погружается в живой поток общения с себе подобными белокрылыми птицами. Тут и там рождается святая Тереза, которой ничего не дано основать, – она устремляется к недостижимой благодати, но взволнованные удары ее сердца, ее рыдания бесплодно растрачиваются и замирают в лабиринте препятствий, вместо того чтобы воплотиться в каком-нибудь деянии, долго хранящемся в памяти людской.

Книга I. Мисс Брук

Глава I

*Бессилен я, ведь женщина всечасно
К тому стремится лишь, что рядом.*

Бомонт и Флетчер. Трагедия девушки

Мисс Брук обладала красотой того рода, для которой скромное платье служит особенно выгодным фоном. Кисти ее рук были так изящно вылеплены, что ей пошли бы даже те столь далекие от моды рукава, в которых Пресвятая Дева являлась итальянским художникам, а ее черты, сложение и осанка благодаря простоте одежды словно обретали особое благородство, и среди провинциальных щеголих она производила такое впечатление, какое производит величая цитата из Святого Писания или одного из наших старинных поэтов в современной газетной статье. О ней обычно отзывались как о чрезвычайно умной девице, но добавляли, что у ее сестры Селии здравого смысла куда больше. А ведь Селия одевалась немногим наряднее сестры, и только особенно внимательный взгляд мог бы подметить, что ее туалет не лишен кокетства. Дело в том, что простота одежды мисс Брук объяснялась рядом обстоятельств, большинство которых в равной степени воздействовало и на ее сестру. Немалую роль играла тут сословная гордость: род Бруков, если и не знатный, несомненно, был «хорошим»: заглянув на одно-два поколения назад, вы не обнаружили бы предков, которые ловко отмеряли материю или завязывали пакеты, – никого ниже адмирала или священника. А среди более дальних пращуров имелся даже «джентльмен-пуританин», служивший под началом Кромвеля, – однако впоследствии он поладил с монархией и после всех политических передряг остался владельцем прекрасного родового поместья. Вполне понятно, что девицы такого происхождения, проводившие жизнь в тихом деревенском доме и молившиеся в приходской церкви, менее просторной, чем иная гостиная, считали ленточки и прочую мишуру приличными лишь дочкам лавочника. Далее, в те дни люди, принадлежащие к благородному сословию и вынужденные экономить, начинали с расходов на одежду, чтобы не урезать суммы, необходимые для поддержания престижа семьи в более существенных отношениях. Этих причин и без каких-либо религиозных принципов было бы вполне достаточно, чтобы одеваться просто, однако, если говорить о мисс Брук, для нее решающими были именно религиозные принципы. Селия же кротко соглашалась со взглядами сестры, хотя и приносила в них тот здравый смысл, который помогает принимать самые возвышенные доктрины без излишней восторженности. Доротея знала наизусть множество отрывков из «Мыслей» Паскаля, а также из трудов Джереми Тейлора и, занятая судьбами рода человеческого, видевшимися ей в озарении христианской веры, полагала, что интерес к модам и нарядам достоин разве что приюта для умалишенных. Она не могла примирить борения духовной жизни, обращенной к вечности, с заботами о рюшах, оборках и шлейфах. Ее ум был теоретического склада и по самой своей природе жаждал неких высоких понятий о мире, непосредственно приложимых к приходу Типтон и к ее собственным правилам поведения там. Ее влекли горение и величие духа, и она опрометчиво увлекалась всем, что, как ей казалось, несло их печать. Она могла бы искать мученичества, затем отступить и все-таки принять мученичество, но вовсе не то, к которому стремилась. Разумеется, подобные черты характера у девушки на выданье препятствовали естественному ходу событий и мешали тому, чтобы судьбу ее, как это чаще всего бывает, решили красивая внешность, тщет-

славию и щенячью привязанность. При всем том она, хотя была старше сестры, еще не достигла двадцатилетнего возраста, и обе они, оставшись сиротами, когда Доротее было двенадцать, воспитывались весьма бестолково, хотя и строго, сначала в английской семье, а потом в швейцарской в Лозанне – так их дядя, старый холостяк, принявший опеку над ними, старался возместить им утрату родителей.

Последний год они жили в Типтон-Грейндже у своего дяди, которому было теперь уже под шестьдесят. Человек мягкий и покладистый, он отличался большой пестротой мнений и некоторой зыбкостью политических убеждений. В молодости он путешествовал, и соседи полагали, что именно этому обстоятельству он и обязан вздорностью своего ума. Выводы, к которым приходил мистер Брук, были столь же труднопредсказуемыми, как погода, а потому можно утверждать только, что руководствовался он всегда самыми благими намерениями и старался расходовать на их осуществление как можно меньше денег. Ибо даже самые расплывчатые натуры всегда обладают одной-двумя твердыми привычками, и человек, нисколько не заботящийся о своих делах, ревниво оберегает свою табакерку от чужих посягательств, бдительно следя за каждым подозрительным движением и крепко сжимая ее в руке.

Но если наследственная пуританская энергия так и не пробудилась в мистере Бруке, она зато равно пылала во всех недостатках и достоинствах его старшей племянницы и нередко преображалась в досаду, когда дядюшка пускался в рассуждения, а также из-за его манеры «оставлять все как есть» у себя в поместье – в такие минуты Доротее особенно не терпелось поскорее достичь совершеннолетия, когда она получит право распоряжаться своими деньгами и сможет употребить их для всяческих благородных начинаний. Она считалась богатой невестой: ведь не только обе сестры получили в наследство от родителей по семисот фунтов годового дохода, но, кроме того, сын Доротеи, если бы она вышла замуж и у нее родился сын, унаследовал бы поместье мистера Брука, которое, по слухам, приносило в год около трех тысяч фунтов – большое богатство в глазах провинциалов, все еще обсуждавших последнюю позицию мистера Пиля в католическом вопросе, не грезивших о грядущих золотых россыпях и понятия не имевших о плутократии, чья пышность вознесла на столь недостижимую высоту обязательные атрибуты благородного образа жизни.

Но что, собственно, препятствовало Доротее выйти замуж – такой красавице и с таким приданым? Да ничего, кроме ее любви к крайностям, кроме стремления жить согласно с понятиями, которые могли удержать осторожного поклонника от предложения ей руки и сердца или же побудить ее отвечать отказом всем женихам. Юная барышня благородного происхождения и с недурным состоянием, которая вдруг падает на колени на кирпичный пол у постели больного поденщика и возносит пылкую молитву, будто живет во времена апостолов! А то принимается поститься, точно папистка, и ночи напролет читает старые богословские трактаты! Такая жена вполне может разбудить вас рано поутру и радостно сообщить, что нашла новый способ распоряжаться своими доходами – способ, который идет вразрез с положениями политической экономии и не позволит держать верховых лошадей. Вполне естественно, что любой мужчина дважды подумает, прежде чем избрать подобную подругу жизни. Конечно, женщинам положены нелепые убеждения, но действовать исходя из них им не полагается – это служит надежной защитой для общества, а также для семейной жизни. Разумные люди ведут себя как все, и если появляются сумасшедшие, их нетрудно распознать и избегать.

Соседские барышни и даже обитатели сельских хижин отдавали предпочтение Селии, всегда приветливой и невинно-простодушной, тогда как огромные глаза мисс Брук, подобно ее религиозности, были слишком уж необычными и странными. Бедняжка Доротея! По сравнению с ней Селия, какой бы невинно-простодушной она ни выглядела, была много более искушенной и опытной – ведь дух человеческий куда сложнее внешней оболочки, которая служит ему своего рода эмблемой или циферблатом.

Однако вопреки пугающим слухам те, кто оказывался в обществе Доротеи, скоро убеждались, что она при всем том обладает редким очарованием. Мужчины находили, что в седле она обворожительна. Ей нравилось дышать воздухом полей и любоваться деревенскими видами, ее глаза радостно блестели, щеки розовели, и она совсем не походила на религиозную фанатичку. Верховая езда была удовольствием, которое Доротея разрешала себе, несмотря на укоры совести, твердившие ей, что удовольствие это языческое и чувственное, и потому она все время предвкушала миг, когда откажется от него.

Доротея была откровенной и пылкой натурой, менее всего склонной к самолюбованию: напротив, она искренне приписывала своей сестре достоинства, далеко превосходившие ее собственные, и, если в Типтон-Грейндж являлся визитер, не торопившийся затвориться с мистером Бруком в его кабинете, она не сомневалась, что он влюблен в Селию, – например, сэр Джеймс Четтем, которого она постоянно оценивала с этой точки зрения, не в силах решить, следует ли Селии принять его предложение. Мысль о том, что предмет его внимания вовсе не Селия, а она сама, показалась бы ей нелепой. Как ни жадно стремилась Доротея познавать высокие истины, ее представления о браке оставались самыми детскими. Она была убеждена, что вышла бы за Прозорливого Гукера и спасла бы его от злополучного брака, доведись ей родиться в том веке. Или же за Джона Мильтона, когда его поразила слепота. Или же за любого из тех великих людей, чьи причуды требовали от жены поистине благочестивого терпения. Но любезный, красивый баронет, отвечавший «совершенно верно!» на любую ее фразу, даже когда она выражала недоумение, – как могла она отнестись к его ухаживаниям? Нет, безоблачно счастливым может быть только такой брак, когда муж более походит на отца и способен научить жену даже древнееврейскому языку, буде она того пожелает.

Наблюдая эти странности Доротеи, соседи еще больше осуждали мистера Брука за то, что он не подыскал в наставницы и компаньонки своим племянницам какую-нибудь почтенную даму средних лет. Но он так страшился тех наделенных воинственными добродетелями женщин, которые могли бы взять на себя подобные обязанности, что поддался уговорам Доротеи и против обыкновения нашел в себе мужество пойти наперекор мнению всего света – а вернее, мнению миссис Кэдуолледер, супруги приходского священника, и трех-четырёх помещичьих семей, живущих по соседству с ним в северо-восточной части Сельскшира. А потому мисс Брук вела дом своего дяди, и ей вовсе не были неприятны почетность нового ее положения и сопряженная с ним власть.

В этот день мистер Брук ожидал к обеду сэра Джеймса Четтема и еще одного джентльмена, которого сестры не знали, хотя Доротея при мысли о знакомстве с ним испытывала почти благоговейную радость. Это был преподобный Эдвард Кейсобон, который славился в их краях необыкновенной ученостью и, по слухам, много лет готовил великий труд, имевший касательство к истории религии. К тому же богатство придавало особый блеск его благочестию и позволяло ему придерживаться собственных взглядов – сущность их должна была стать ясной после опубликования его труда. Даже самая его фамилия обладала особой внушительностью для тех, кто знал ученых богословов прошлых времен.

Утром Доротея, возвратившись из школы, которую она учредила для деревенских ребятишек, сидела в уютной гостиной, разделявшей спальни сестер, и чертила план какого-то здания (ей очень нравилась такая работа), когда Селия, уже несколько минут собиравшаяся с духом, вдруг сказала:

– Доротея, душечка, может быть, ты... если ты не очень занята... Может быть, мы переберем сегодня мамины драгоценности и поделим их? Сегодня исполнилось ровно шесть месяцев с тех пор, как дядя тебе их отдал, а ты так ни разу на них даже и не взглянула.

Лицо Селии приняло выражение досады – правда, легкой, потому что она сдерживалась, привычно побаиваясь Доротеи и ее принципов: стоило неосторожно задеть их, и мог возник-

нуть таинственный электрический разряд. К большому ее облегчению, Доротея посмотрела на нее с веселой улыбкой:

– Какой же ты, оказывается, точный календарик, Селия! Но ты имеешь в виду солнечные месяцы или лунные?

– Сегодня последний день сентября, а дядя отдал их тебе первого апреля. Он еще сказал тебе, что совсем про них забыл. А ты заперла их в бюро и, по-моему, ни разу о них не вспомнила.

– Но ведь нам все равно не придется их надевать, милочка, – ласково объяснила Доротея, чертя что-то карандашом на полях плана.

Селия покраснела и насупилась:

– Мне кажется, душечка, оставлять их без внимания – значит не проявлять должного уважения к памяти мамы. И к тому же, – добавила она, поколебавшись и подавляя вздох огорчения, – ожерелья теперь можно увидеть на ком угодно, да и мадам Пуансон, чьи взгляды были кое в чем строже твоих, надевала украшения. И вообще, христианам... уж наверное в раю немало женщин, которые в свое время носили драгоценности. – Когда Селия решалась спорить, она умела находить доводы, как ей казалось, весьма убедительные.

– Ты хотела бы носить их? – вскричала Доротея с драматическим удивлением, бессознательно подражая той самой мадам Пуансон, которая надевала украшения. – В таком случае, конечно, их надо достать. Почему ты мне раньше не сказала? Но ключи... где же ключи? – И она прижала ладони к вискам, тщетно напрягая память.

– Вот они, – перебила Селия, которая давно уже обдумала этот разговор и подготовилась к нему.

– Будь так добра, отопри большой ящик бюро и достань шкатулку.

Вскоре шкатулка была открыта и вынутые из нее драгоценности блеснули и переливались на столе. Их было не так уж много, но некоторые пленяли глаз красотой и изяществом, особенно ожерелье из лиловых аметистов в ажурной золотой оправе и жемчужный крестик с пятью бриллиантами. Доротея тотчас взяла ожерелье и надела сестре на шею, которую оно охватило плотно, почти как браслет, но посадкой головы Селия несколько походила на королеву Генриетту-Марию, и этот обруч был ей очень к лицу, в чем она не замедлила убедиться, поглядев в зеркало напротив.

– Ну вот, Селия! Его ты можешь носить с платьем из индийского муслина. Но крестик надевай только с темными платьями.

Селия старалась согнать с губ радостную улыбку.

– Нет, Додо, крестик ты должна взять себе.

– Что ты, милочка, ни в коем случае, – ответила Доротея, пренебрежительно махнув рукой.

– Нет, возьми! Он очень тебе пойдет. Вот к этому темному платью, – настаивала Селия. – Уж его-то ты надеть можешь!

– Ни за что на свете. Я никогда не надену крест как пустое украшение. – Доротея даже вздрогнула.

– Значит, ты считаешь, что я поступлю дурно, если надену его? – смущенно спросила Селия.

– Вовсе нет, милочка! – ответила Доротея, нежно потрепав сестру по щеке. – Ведь и у каждой души свой цвет лица, – что идет одной, нехорошо для другой.

– Но может быть, ты взяла бы его на память о маме?

– Нет, у меня есть другие мамины вещи. Ее сандаловая шкатулка, которую я так люблю. Ну, и еще... А это все твое, милочка, так что мы можем больше их не рассматривать. Ну-ка, забирай свою собственность.

Селия немного обиделась. Эта пуританская снисходительность была точно гордый взгляд сверху вниз, и младшую сестру, не плававшую религиозным рвением, он задел не меньше самых строгих пуританских упреков.

– Но как же я буду надевать украшения, если ты, старшая сестра, никогда их не носишь?

– Ну это уж слишком, Селия, – просить, чтобы я нацепляла на себя побрякушки ради твоей прихоти. Если бы я надела такое ожерелье, у меня, наверное, все бы в глазах завертелось. Я даже шагу не смогла бы ступить.

Селия расстегнула застежку ожерелья и сняла его.

– У тебя на шее оно, пожалуй, не сойдется. Тебе нужно бы что-нибудь вроде длинной нитки бус с подвеской, – сказала она, словно оправдываясь. Оттого что ожерелье во всех отношениях не годилось Доротее, у Селии стало легче на душе. Она открыла коробочки с кольцами, и луч солнца, выглянувшего из-за облаков, упал на прекрасный изумруд в розетке из бриллиантов.

– Как красивы эти камни! – сказала Доротея, поддаваясь новому чувству, столь же внезапному, как этот луч. – Странно, что цвета способны проникать в самую душу, подобно ароматам. Наверное, потому-то в Откровении Иоанна Богослова драгоценные камни служат символами духовных сокровищ. Они похожи на осколки неба. По-моему, этот изумруд прекраснее всего остального.

– А вот браслет к нему, – сказала Селия. – Мы его как-то не заметили.

– Какая прелесть! – воскликнула Доротея, надев браслет и кольцо на точеное запястье и красивый палец и поднеся их к окну на уровне глаз. Все это время она внутренне подыскивала оправдание восторгу, который ощутила при виде игры драгоценных камней, и уже ощущала его как мистическую радость, даруемую религией.

– Но они же нравятся тебе, Доротея, – неуверенно сказала Селия, сбита с толку таким неожиданным проявлением слабости и думая, что изумруды самой ей пошли бы даже больше, чем лиловые аметисты. – Возьми их, раз уж ты ничего другого не хочешь. Хотя взгляни-ка на эти агаты – они очень хороши... и скромны.

– Да, я их возьму... то есть кольцо и браслет, – сказала Доротея и, опустив руку, добавила другим тоном: – Но как жалки люди, которые отыскивают эти камни, гранят их и продают!

Наступило молчание, и Селия решила, что Доротея все-таки будет последовательна и откажется от изумрудов.

– Да, милочка, я их возьму, – произнесла Доротея решительно. – А остальное бери ты, и шкатулку тоже.

Она уже снова держала в руке карандаш, но по-прежнему смотрела на драгоценности, которые не стала снимать, и думала про себя, что часто будет любоваться этими двумя крохотными средоточиями чистого цвета.

– А в обществе ты будешь их носить? – спросила Селия с большим любопытством.

Доротея бросила на сестру быстрый взгляд. Как ни украшала она мысленно тех, кого любила, порой она оценивала их с пронизательностью, которая была сродни испепеляющему высокомерию. Если мисс Брук было суждено достичь совершенного смирения, то уж во всяком случае не из-за недостатка внутреннего огня.

– Может быть, – произнесла она надменно. – Я не берусь предсказывать заранее, как низко способна я пасть.

Селия покраснела и расстроилась. Она поняла, что обидела сестру, и, не решившись даже поблагодарить ее за подаренные драгоценности, быстро сложила их в шкатулку и унесла. Доротея продолжала чертить свой план, но и у нее на душе тоже было тяжело: она спрашивала себя, насколько искренни были ее побуждения и слова в разговоре, завершившемся этой маленькой вспышкой.

Что касается Селии, то совесть твердила ей, что она совершенно права: ее вопрос был вполне допустимым и естественным. А вот Доротея вела себя непоследовательно – она должна была бы взять свою половину драгоценностей либо, сказав то, что она сказала, вовсе от них отказаться.

«Я убеждена... то есть я полагаю, что не стану молиться меньше оттого, что надену ожерелье. И теперь, когда мы начали выезжать, мнения Доротеи для меня вовсе не обязательны, хотя для нее самой они должны быть обязательными. Но Доротея не всегда последовательна...»

Так размышляла Селия, молча склоняясь над вышивкой, но тут сестра окликнула ее:

– Киска, пойди посмотри мой план. Я бы решила, что я великий архитектор, но только вот очаги и лестницы совершенно не вяжутся друг с другом.

Когда Селия наклонилась над листом, Доротея нежно прижалась щекой к ее локтю. Селия поняла, что скрывалось за этим движением: Доротея призналась, что была не права. И Селия ее простила. С той поры как она себя помнила, Селия относилась к старшей сестре с робким благоговением, к которому примешивался скептицизм. Младшая всегда носила ярмо, но никакое ярмо не может помешать тайным мыслям.

Глава II

– Скажи, разве ты не видишь, что навстречу нам едет всадник на сером в яблоках коне и что на голове у него золотой шлем?

– Я ничего не вижу и не различаю, – отвечал Санчо, – кроме человека верхом на пегом осле, совершенно таком же, как мой, а на голове у этого человека что-то блестит.

– Это и есть шлем Мамбрина, – сказал Дон Кихот.

Мигель Сервантес. Дон Кихот

– Сэр Гемфри Дэви? – сказал за супом мистер Брук с обычной добродушной улыбкой, когда сэр Джеймс Четтем упомянул, что штудировать сейчас «Основания земледельческой химии» Дэви. – Как же, как же, сэр Гемфри Дэви. Много лет назад я обедал с ним у Картрайта. Там еще был Вордсворт – поэт Вордсворт, знаете ли. И престранная вещь! Я учился в Кембридже тогда же, когда и Вордсворт, но мы не были знакомы – и вот двадцать лет спустя я обедаю с ним у Картрайта. Пути судьбы неисповедимы. И там был Дэви. Поэт, как и Вордсворт. А вернее – тоже поэт. Что верно во всех смыслах слова, знаете ли.

Доротея чувствовала себя более неловко, чем обычно. Обед только начинался, общество было невелико, в комнате царила тишина, и эти обрывки бесконечных воспоминаний мирового судьи не могли остаться незамеченными. А такому человеку, как мистер Кейсобон, наверное, невыносимо слушать банальности. Его манеры, думала она, исполнены удивительного достоинства, а пышные седые волосы и глубоко посаженные глаза придают ему сходство с портретами Локка. Мистер Кейсобон был сухощав и бледен, как подобает ученому мужу, и являл полную противоположность типу полнокровного англичанина, воплощенному в сэре Джеймсе Четтеме, чьи румяные щеки были обрамлены рыжеватыми бакенбардами.

– Я читаю «Основания земледельческой химии», – продолжал милейший баронет, – потому что намерен сам заняться одной из моих ферм и посмотреть, нельзя ли улучшить ведение хозяйства и научить тому же моих арендаторов. Вы одобряете это, мисс Брук?

– Большая ошибка, Четтем, – вмешался мистер Брук, – пичкать землю электричеством и тому подобным и превращать коровник в дамскую гостиную. Ничего хорошего из этого не выйдет. Одно время я сам занимался наукой, но потом понял, что ничего хорошего из этого не выйдет. Она затрагивает все, и ничего нельзя оставить как есть. Нет, нет! Приглядывайте, чтобы ваши арендаторы не продавали солому и все такое прочее. И знаете ли, им нужна черепица для дренажа. Ну а от вашего образцового хозяйства толку не будет. Одни только расходы. Дешевле завести свору гончих.

– Но разве не достойнее тратить деньги на то, чтобы научить людей как можно лучше использовать землю, которая их кормит, чем на собак и лошадей, чтобы просто по ней скакать? – сказала Доротея. – Нет греха в том, чтобы истратить даже все свои деньги на эксперименты во имя общего блага.

Она сказала это с воодушевлением, которое не вполне шло молодой девице, но ведь сэр Джеймс сам спросил ее мнение. Он часто это делал, и она не сомневалась, что сумеет подсказать ему немало добрых и полезных дел, когда он станет ее зятем.

Пока Доротея говорила, мистер Кейсобон глядел на нее с особым вниманием, точно увидев ее по-новому.

– Юные барышни, знаете ли, в политической экономии не разбираются, – сказал мистер Брук, улыбаясь мистеру Кейсобону. – Вот, помнится, мы все читали Адама Смита. Да уж, это была книга! Одно время я увлекался всякими новыми идеями. Способность человека к совершенствованию, например. Однако многие утверждают, что история движется по кругу, и это можно подкрепить весьма вескими доводами. Я сам находил их немало. Что поделаешь:

человеческий разум может завести нас слишком далеко – в придорожную канаву, так сказать. Одно время он и меня занес довольно-таки далеко, по потом я увидел, что ничего хорошего из этого не выйдет. И я натянул поводья. Как раз вовремя. Но не слишком резко. Я считал и считаю, что в какой-то мере теоретические построения необходимы. Мы должны мыслить, или же мы вернемся во мрак Средневековья. Но кстати о книгах. Я теперь по утрам читаю «Испанскую войну» Саути. Вы знаете Саути?

– Нет, – ответил мистер Кейсобон, не поспевая за резвым разумом мистера Брука и имея в виду книгу. – Для подобной литературы у меня сейчас почти не остается досуга. К тому же последнее время я слишком утомлял зрение старинной печатью. По правде говоря, я предпочел бы пользоваться по вечерам услугами чтеца. Но я очень разборчив в отношении голосов и не выношу запинок и ошибок в чтении. В некоторых отношениях это большая беда. Мне надо слишком много черпать из внутренних источников, я постоянно живу среди мертвецов. Мой ум подобен призраку какого-нибудь античного мужа, который скитается по миру, видит руины, видит перемены и мысленно пытается восстановить то, что было когда-то. Но я вынужден всячески беречь мое зрение.

Мистер Кейсобон впервые не ограничился кратким ответом. Он говорил четко и внятно, словно произнося публичную речь, и напевная размеренность его фраз, подкрепляемых легким наклоном головы, была особенно заметна по контрасту с путаным порханием добрейшего мистера Брука. Доротея подумала, что мистер Кейсобон – самый интересный человек из всех, кого ей доводилось слышать, не исключая даже мосье Лире, лозаннского священника, который читал лекции по истории вальденсов. Воссоздать древний забытый мир – и, несомненно, во имя высочайших велений истины! Ах, быть причастной к подобному труду, пусть в самой смиренной роли, помогать, хотя бы просто заправляя лампу! Эта возвышенная мысль даже рассеяла досаду, вызванную насмешливым напоминанием о ее неосведомленности в политической экономии – неведомой науке, которую пускали в ход как гасильник, стоило ей загореться какой-то мечтой.

– Но вы же любите ездить верхом, мисс Брук, – сказал сэр Джеймс, спеша воспользоваться удобным случаем. – А потому мне казалось, что вы пожелаете познакомиться и с удовольствиями лисьей травли. Может быть, вы согласитесь испробовать моего гнедого? Он приучен ходить под дамским седлом. В субботу я видел, как вы ехали по склону холма на лошадке, которая вас недостойна. Мой грум будет приводить вам Коридона каждый день, скажите только, какой час вам удобен.

– Благодарю вас, вы очень любезны. Но я больше не намерена ездить верхом. Никогда! – воскликнула Доротея, приняв это внезапное решение главным образом под влиянием досады на сэра Джеймса, который искал ее внимания, когда оно было всецело отдано мистеру Кейсобону.

– И напрасно, поверьте мне, – сказал сэр Джеймс с упреком в голосе, выдававшим искреннее чувство. – Ваша сестра слишком сурова к себе, не правда ли? – продолжал он, повернувшись к Селии, которая сидела справа от него.

– Да, пожалуй, – ответила Селия, опасаясь рассердить Доротею и заливаясь прелестным румянцем до самого ожерелья. – Ей нравится во всем себе отказывать.

– Будь это правдой, Селия, следовало бы говорить не о суровости к себе, а о потакании своим желаниям. И ведь могут быть очень веские причины не делать того, что доставляет удовольствие, – возразила Доротея.

Мистер Брук сказал что-то одновременно с ней, но она видела, что мистер Кейсобон смотрит не на него, а на нее.

– Совершенно верно, – подхватил сэр Джеймс. – Вы отказываете себе в удовольствиях из каких-то высоких, благородных побуждений.

– Нет, это не совсем верно. Ничего подобного я о себе не говорила, – ответила Доротея, покраснев. В отличие от Селии она краснела редко и только когда очень радовалась или очень сердилась. В эту минуту она сердилась на нелепое упрямство сэра Джеймса. Почему он не займется Селией, а ее не оставит в покое, чтобы она могла слушать мистера Кейсобона? То есть если бы мистер Кейсобон говорил сам, а не предоставлял говорить мистеру Бруку, который в эту минуту сообщил ему, что реформация либо имела смысл, либо нет, что сам он – протестант до мозга костей, но что католицизм – реальный факт, а что до того, чтобы не уступать и акра своей земли под католическую часовню, то всем людям нужна узда религии, которая, в сущности, сводится к страху перед тем, что ждет человека за гробом.

– Одно время я глубоко изучал теологию, – сказал мистер Брук, словно поясняя столь поразительное прозрение. – И кое-что знаю о всех новейших течениях. Я был знаком с Уилберфорсом в его лучшие дни. Вы знакомы с Уилберфорсом?

– Нет, – ответил мистер Кейсобон.

– Ну, Уилберфорс, пожалуй, не ахти какой мыслитель, но, если бы я стал членом парламента – а мне предлагают выставить мою кандидатуру, – я бы сел на скамью независимых, как Уилберфорс, и тоже занялся бы филантропией.

Мистер Кейсобон наклонил голову и заметил, что это очень обширное поле деятельности.

– Да, – сказал мистер Брук с благодушной улыбкой. – Но у меня есть документы. Я уже давно начал собирать документы. Их надо рассортировать – всякий раз, когда меня интересовал тот или иной вопрос, я писал кому-нибудь и получал ответ. Я могу опереться на документы. Но скажите, как вы сортируете свои документы?

– Преимущественно раскладываю по ячейкам бюро, – ответил мистер Кейсобон с некоторой растерянностью.

– А, нет! Я пробовал раскладывать по ячейкам, но в ячейках все перепутывается, и никогда не знаешь, где лежит нужная бумага – на «А» или на «Т».

– Вот если бы, дядя, вы позволили мне разобрать ваши бумаги, – сказала Доротея, – я бы пометила каждую соответствующей буквой, а потом составила бы список по буквам.

Мистер Кейсобон одобрительно улыбнулся и заметил, обращаясь к мистеру Бруку:

– Вам, как видите, было бы нетрудно найти превосходного секретаря.

– Нет-нет, – ответил мистер Брук, покачивая головой. – Я не могу доверить свои бумаги заботам юных девиц. У юных девиц всегда ветер в голове.

Доротею это глубоко огорчило. Мистер Кейсобон решит, что у ее дяди есть особые причины для подобного утверждения, тогда как это мнение, легковесное, точно сухое крылышко насекомого, просто родилось из общего сумбура его мыслей и ее коснулось лишь случайно.

Когда сестры удалились в гостиную, Селия сказала:

– Ах, как мистер Кейсобон некрасив!

– Селия! Я еще не видела мужчины столь благородного облика! Он удивительно похож на портрет Локка. Те же глубоко посаженные глаза!

– А у Локка тоже были две волосатые бородавки?

– Может быть, и были – на взгляд людей определенного рода! – отрезала Доротея, отходя к окну.

– Но у мистера Кейсобона такой желтый цвет лица!

– И прекрасно. Тебе, вероятно, нравятся мужчины розовые, как *cochon de lait*¹.

– Додо! – вскричала Селия, с удивлением глядя на сестру. – Прежде я не слыхала от тебя таких сравнений.

– А прежде для них не было повода! Очень удачное сравнение! Удивительно подходящее! Мисс Брук явно забылась, и Селия прекрасно заметила это.

¹ Молочный поросенок (*фр.*).

– Не понимаю, почему ты сердишься, Доротея.

– Мне больно, Селия, что ты смотришь на людей так, точно они животные, только одетые, и не замечаешь на человеческом лице отпечатка великой души.

– А разве у мистера Кейсобона великая душа? – Селия была не лишена простодушной злокозненности.

– Да, я в этом не сомневаюсь, – решительно ответила Доротея. – Все, что я вижу в нем, достойно его трактата о библейской космологии.

– Но он почти ничего не говорит, – заметила Селия.

– Потому что ему тут не с кем разговаривать.

«Доротея просто презирает сэра Джеймса Четтема, – подумала Селия. – Наверное, она ему откажет. А жаль!»

Селия несколько не обманывалась относительно того, кем из них интересуется баронет. Иногда ей даже приходило в голову, что Додо, пожалуй, не сумеет дать счастья мужу, не разделяющему ее взглядов. А в глубине ее души пряталось постоянно подавляемое убеждение, что ее сестра чересчур уж религиозна для семейной жизни. Все эти ее идеи и опасения были точно сломанные иголки – страшно ступать, страшно садиться и даже есть страшно!

Когда мисс Брук начала разливать чай, сэр Джеймс поспешил подсесть к чайному столу, несколько не обидевшись на то, как она отвечала ему за обедом. Да это и понятно. Он полагал, что нравится мисс Брук, а манеры и слова должны стать совершенно уж недвусмысленными, чтобы уверенность – или, наоборот, подозрительность – не могла истолковать их на свой лад. Мисс Брук казалась баронету очаровательной, но, разумеется, он прислушивался не только к своему сердцу, но и к рассудку. Ему были свойственны разные превосходные качества, и в том числе одно редкое достоинство: он твердо знал, что таланты его, даже получи он полную волю, не зажгли бы и самого скромного ручейка в графстве, а потому он был бы только рад жене, которой можно по тому или иному поводу задать вопрос: «Так как же мы поступим?» – жене, которая способна помочь мужу советами и располагает достаточным состоянием, чтобы советы эти были вескими. Что же до излишней религиозности, которую ставили в вину мисс Брук, он толком не понимал, в чем эта религиозность заключается, и не сомневался, что после свадьбы она быстро пойдет на убыль. Короче говоря, он чувствовал, что сердце его сделало правильный выбор, и готов был к известному подчинению, тем более что мужчина при желании всегда может сбросить с себя такое иго. Правда, сэр Джеймс не думал, что ему когда-нибудь надоеет подчиняться этой красавице, чьим умом он восхищался. А почему бы и нет? Ведь ум мужчины, пусть самый скудный, имеет то преимущество, что он мужской (так самая чахлая береза – все-таки дерево более высокого порядка, чем самая стройная пальма), и даже невежество его кажется более почтенным. Возможно, сэр Джеймс был неоригинален в своих оценках, но крахмал или желатин традиционности по милости Провидения способен укрепить и жиденькую веру.

– Позвольте мне надеяться, мисс Брук, что вы измените свое решение относительно лошади, – сказал настойчивый поклонник. – Поверьте, верховая езда чрезвычайно благотворна для здоровья.

– Мне это известно, – холодно ответила Доротея. – Я полагаю, что Селии было бы очень полезно ездить верхом.

– Ведь вы в таком совершенстве владеете этим искусством!

– Извините, но у меня было мало практики, и я не уверена, что всегда сумею удержаться в седле.

– Тем больше причин практиковаться. Всякой даме нужно уметь ездить верхом, чтобы она могла сопровождать своего мужа.

– У нас с вами совершенно разные взгляды, сэр Джеймс. Я решила, что мне не следует совершенствоваться в верховой езде, и, следовательно, никогда не уподоблюсь тому идеалу женщины, который рисуется вам!

Доротея глядела прямо перед собой и говорила с холодной резкостью, которая больше пошла бы гордому юноше и составляла забавный контраст с любезной обходительностью ее обожателя.

– Но мне хотелось бы знать причину столь жестокого решения. Не может быть, чтобы вы усматривали в верховой езде что-либо дурное.

– Однако вполне может быть, что мне ездить верхом все-таки не следует.

– Почему же? – осведомился сэр Джеймс тоном нежного упрека.

Тем временем мистер Кейсобон подошел к столику с пустой чашкой в руке и слушал их разговор.

– Не следует излишне любопытствовать о наших побуждениях, – произнес он со своей обычной размеренностью. – Мисс Брук знает, что, облеченные в слова, они утрачивают силу – происходит смешение флюидов с грубым воздухом. Росток, пробивающийся из зерна, не следует извлекать на свет.

Доротея порозовела от радости и бросила на него благодарный взгляд. Вот человек, который способен понять внутреннюю жизнь души, с которым возможно духовное общение, – нет, более того: чьи обширные знания озарят любой принцип, чья ученость сама по себе почти доказывает верность всего, во что он верит!

Выводы Доротеи кажутся несколько произвольными, но ведь жизнь вряд ли могла бы продолжаться, если бы не эта способность строить иллюзии, которая облегчает заключение браков вопреки всем препонам цивилизации. Кто когда сминал паутину добрачного знакомства в тот крохотный комочек, каким она является в действительности?

– О, разумеется! – сказал добрейший сэр Джеймс. – Никто не станет настаивать, чтобы мисс Брук объяснила причины, о которых она предпочитает умолчать. Я убежден, что причины эти только делают ей честь.

Взгляд, брошенный Доротеей на мистера Кейсобона, не вызвал у баронета ни малейшей ревности. Ему и в голову не могло прийти, что девушка, которой он намеревался предложить руку и сердце, способна испытывать хоть какое-то чувство к иссохшему книжечку без малого пятидесяти лет – если не считать почтения как к священнослужителю, пользующемуся некоторой славой.

Но когда мисс Брук начала беседовать с мистером Кейсобоном о лозаннских священниках, сэр Джеймс отошел к Селии и заговорил с ней о ее сестре, упомянул про свой городской дом и осведомился, не испытывает ли мисс Брук предубеждения против Лондона. Селия, когда Доротеи не было рядом, разговаривала легко и непринужденно, и сэр Джеймс сказал себе, что младшая мисс Брук не только хороша собой, но и очень мила, хотя вовсе не умнее и не рассудительнее сестры, как утверждают некоторые люди. Он верил, что его избранница во всех отношениях прекраснее, а всякий человек, естественно, предпочитает хорошему наилучшее. Поистине лишь лицемер из лицемеров решился бы отрицать это.

Глава III

*Богиня, молви, что произошло,
Когда любезный Рафаил, архангел...
...Его словам
Внимала Ева и была полна
Восторгом, узнавая о вещах
Столь дивных и высоких.*

Джон Мильтон. Потерянный рай. Кн. VII

Если бы мистер Кейсобон действительно пришел к заключению, что в мисс Брук он найдет подходящую для себя супругу, ее в этом убеждать было бы излишне: доводы в пользу брака с ним уже пустили ростки в ее сознании, а к вечеру следующего дня дали бутоны и расцвели пышным цветом. Ибо утром они долго беседовали между собой – Селия, не имея никакого желания любоваться бородавками и желтизной лица мистера Кейсобона, отправилась к младшему священнику поиграть с его плохо обутыми, но веселыми детишками.

К этому времени Доротея успела глубоко заглянуть в никем не меренное озеро ума мистера Кейсобона, увидела там смутное, сложное, как лабиринт, отражение качеств, которые сама же вообразила, рассказала ему о собственных борениях и почерпнула некоторые сведения о его великом труде, также обладавшем заманчивой сложностью лабиринта. Ибо он наставлял и поучал с не меньшей охотой, чем мильтоновский «любезный архангел», и в несколько архангельской манере поведал ей о своем намерении доказать (разумеется, такие попытки уже предпринимались, но им не хватало той полноты, точности сравнений и логичности, которых надеялся достичь мистер Кейсобон), что все мифологические системы и отдельные обрывки мифов представляют собой искажения некогда заповеданного человечеству единого их источника. Достаточно овладеть верной исходной позицией, утвердиться в ней, и сразу бесчисленные мифологические построения обретут ясность, воссияют отраженным светом соответствий. Но уборка этого великого урожая истины – труд нелегкий и нескорый. Его заметки уже составили внушительное число томов, однако впереди предстоит главная задача – свести эти обильные и все еще умножающиеся результаты воедино и придать им, как некогда гиппократическим сборникам, сжатую форму, так, чтобы они уместились на одной небольшой полке. Объясняя это Доротее, мистер Кейсобон говорил с ней, точно с ученым собратом, ибо не умел говорить иначе. Правда, каждую свою латинскую или греческую фразу он скрупулезно сопровождал переводом, но, впрочем, он, вероятно, в любом случае делал бы то же. Ученый провинциальный священник привык видеть в своих знакомых тех «лордов, рыцарей и прочих людей, и знатных и достойных, что мало сведущи в латыни».

Доротею покорила широта этой идеи. Тут речь шла не о нравоучительных повестях для молодых девиц. Перед ней был живой Боссюэ, чей труд примирит полное знание с истинным благочестием, современный Августин, объединяющий в себе великого ученого и великого святого.

Святость казалась столь же несомненной, как и ученость: когда Доротея позволила себе коснуться некоторых заветных тем, обсуждать которые ей в Типтон-Грейндже до сих пор было не с кем, – главным образом, второстепенности церковных догматов и обрядов в сравнении с религией духа, полным растворением личности в приобщении к Божественному совершенству, о чем, по ее убеждению, повествовали лучшие христианские книги всех времен, – она обрела в мистере Кейсобоне слушателя, который понимал ее с полуслова, поддерживал эту

точку зрения, правда с кое-какими мудрыми ограничениями, и приводил исторические примеры, дотоле ей неизвестные.

«Он разделяет мои мысли, – сказала себе Доротей. – А вернее, его мысли – обширный мир, мои же – лишь скромное зеркальце, этот мир отражающее. И чувства его, вся его жизнь – какое море в сравнении с моим сельским прудом».

Мисс Брук выводила свои заключения из слов и утверждений с решительностью, вообще свойственной девицам ее возраста. Мелочи вовсе даже не многозначительные поддаются бесчисленным истолкованиям, и для искренних и увлекающихся молодых натур любая мелочь оборачивается источником удивления, надежды, доверия, необъятных, как небо, и расцветных распыленными частицами фактов. И далеко не всегда они грубо обманываются. Ибо даже Синдбад благодаря счастливому стечению обстоятельств время от времени рассказывал правду, а неверные рассуждения иной раз помогают бедным смертным прийти к правильным выводам, – отправившись в путь не оттуда, откуда следовало бы, петляя, двигаясь зигзагами, мы порой попадаем точно к месту нашего назначения. Если мисс Брук поторопилась приписать мистеру Кейсобону множество достоинств, это еще не значит, что он был вовсе их лишен.

Он остался дольше, чем предполагал вначале, сразу согласившись на приглашение мистера Брука – даже не очень настойчивое – познакомиться с некоторыми документами его коллекции, относящимися к уничтожению машин и поджогам амбаров с зерном. Мистер Кейсобон проследовал в библиотеку, где узрел кипы бумаг. Хозяин дома вытаскивал из этого вороха то один документ, то другой, неуверенно прочитывал вслух несколько фраз, перескакивая с абзаца на абзац, бормотал: «Да, конечно, но вот тут...», а потом отодвинул их в сторону и открыл путевой дневник, который вел в молодости во время своих путешествий.

– Посмотрите, это все о Греции. Рамнунт, развалины Рамнунта... вы же такой знаток всего греческого. Не знаю, занимались ли вы топографией. Я на это не жалел времени – Геликон, например. Вот тут: «На следующее утро мы отправились на Парнас, двуглавый Парнас». Вся эта тетрадь, знаете ли, посвящена Греции, – заключил свои объяснения мистер Брук, взвешивая дневник в руке и проводя ногтем большого пальца по обрезаю.

Мистер Кейсобон слушал его с должным вниманием, хотя и с некоторой тоской, – где надо, наклонял голову и, хотя всячески избегал заглядывать в документы, однако, насколько это было в его силах, не выказывал ни пренебрежения, ни нетерпения, памятуя, что подобная беспорядочность освящена традициями страны и что человек, увлекший его в эти бестолковые умственные блуждания, не только радушный хозяин, но также помещик и *custos rotulorum*². А может быть, в этой стойкости его укрепляла мысль о том, что мистер Брук доводится Доротеем дядей?

Во всяком случае, он, как не преминула заметить про себя Селия, все чаще искал случая обратиться к ней с вопросом, заставить ее разговаривать или просто смотрел на нее, и его лицо, точно бледным зимним солнцем, освещалось улыбкой. На следующее утро, прогуливаясь перед отъездом с мисс Брук по усыпанной гравием дорожке возле террасы, он посетовал на свое одиночество, на отсутствие в его жизни того благотворного общения с юностью, которое облегчает серьезные труды зрелости, внося в них приятное разнообразие. Произнес он эту сентенцию с такой отточенной четкостью, словно был полномочным посланником и каждое его слово могло иметь важные последствия. Впрочем, мистер Кейсобон не привык повторять или изменять то или иное свое утверждение, когда оно касалось дел практических или личных. И, вновь вернувшись в беседе к склонностям, о которых вел речь второго октября, он не стал бы повторяться, а счел бы достаточным простое упоминание этой даты, исходя из свойств собственной памяти, подобной фолианту, в котором ссылка «*vide supra*»³ вполне заменяет повто-

² Здесь: мировой судья (*лат.*).

³ См. выше (*лат.*).

рения, а не промокательной бумаги, хранящей отпечатки забытых строк. Однако на этот раз мистер Кейсобон не был бы обманут в своих ожиданиях, ибо все, что он говорил, Доротея выслушивала и запоминала с жадным интересом живой юной души, для которой каждое новое впечатление – это целая эпоха.

Мистер Кейсобон уехал к себе в Лоуик (до которого от Типтон-Грейнджа было всего пять миль) лишь в четвертом часу этого ясного прохладного осеннего дня, а Доротея, воспользовавшись тем, что она была в шляпке и шали, сразу же направилась через сад и парк в примыкающий к ним лес в сопровождении лишь одного зримого спутника – огромного сенбернара Монаха, неизменного хранителя барышень во время их прогулок. Перед ней предстало видение возможного ее будущего, и она с трепетной надеждой искала уединения, чтобы без помех обозреть мысленным взором это желанное будущее. Быстрый шаг и бодрящий воздух разрумянили ее щеки, соломенная шляпка (наши современницы, возможно, поглядели бы на нее с недоумением, приняв за старинную корзинку) чуть-чуть сдвинулась назад. Портрет Доротеи будет неполным, если не упомянуть, что свои каштановые волосы она заплетала в тугие косы и закручивала узлом на затылке – а это было немалой смелостью в эпоху, когда общественный вкус требовал, чтобы природная форма головы маскировалась бантами и баррикадами крутых локонов, какие не удалось превзойти ни одному просвещенному народу, кроме фиджийцев. В этом также проявлялся аскетизм мисс Брук. Но трудно было найти хоть что-нибудь аскетическое в выражении ее больших ясных глаз, взор которых не замечал вокруг ничего, кроме гармонизировавшего с ее настроением торжественного блеска золотых лучей, длинными полосами перечеркивавших глубокую тень уходящей вдаль липовой аллеи.

Все люди, как молодые, так и старые (то есть все люди тех дореформенных времен), сочли бы ее интересным предметом для наблюдения, приняв пылание ее глаз и щек за свидетельство обычных грез недавно вспыхнувшей юной любви. Иллюзии, которые Стреффон внушил Хлое, уже освящены поэзией в той мере, какой достойна трогательная прелесть доверия, подаренного с первого взгляда. Мисс Фиалка, дарящая свое обожание молодому Репью и предающаяся мечтам о бесконечной веренице дней и лет, украшенных неизменной душевной нежностью, – вот маленькая драма, которая никогда не приедалась нашим отцам и матерям и разыгрывалась в костюмах всех времен. Лишь бы Репей обладал фигурой, которую не портил даже фрак с низкой талией, и все считали не только естественным, но даже необходимым свидетельством истинной женственности, если милая, наивная девушка тотчас убеждала себя, что он добродетелен, одарен множеством талантов, а главное, во всем искренен и правдив. Но, пожалуй, в те времена не нашлось бы никого – во всяком случае, в окрестностях Типтон-Грейнджа, – кто с сочувствием отнесся бы к мечтам девушки, которая восторженно видела в браке главным образом служение высшим целям жизни, причем восторженность эта питалась собственным огнем и ничуть не подогревалась мыслью не только о шитье приданого или о выборе свадебного сервиза, но даже о привилегиях и удовольствиях, положенных молодой даме.

Доротея осмелилась подумать, что мистер Кейсобон, возможно, пожелает сделать ее своей супругой, и она испытывала теперь к нему благодарность, похожую на благоговение. Какая доброта, какая снисходительность! Словно на ее пути встал крылатый вестник и простер к ней руку! Ее так давно угнетало ощущение неопределенности, в котором, словно в густом летнем тумане, терялось ее упорное желание найти для своей жизни наилучшее применение. Что она может сделать? Чем ей следует заняться? Хотя она еще только переступила порог юности, но ее живую совесть и духовную жажду не удовлетворяли предназначенные для девиц наставления, которые можно уподобить пискливым рассуждениям словоохотливой мыши. Одари ее природа глупостью и самодовольством, она, вероятно, считала бы, что идеал жизни молодой и состоятельной девицы-христианки вполне исчерпывается приходской благотворительностью, покровительством бедному духовенству, чтением книги «Женщины Святого Писания», повествующей об испытаниях Сары в Ветхом Завете и Тавифы – в Новом, и раз-

мышлениями о спасении собственной души над пальцами у себя в будуаре; а далее – брак с человеком, который, конечно, занимаясь делами, далекими от религии, не будет столь строг в вере, как она сама, что, впрочем, даст ей возможность молиться о спасении его души и время от времени наставлять его на путь истинный. Но такое тихое довольство было не для бедняжки Доротеи. Пылкая религиозность, накладывавшая печать на все ее мысли и поступки, была лишь одним из проявлений натуры увлекающейся, умозрительной и логичной, а когда подобная натура бьется в тенетах узкого догматизма и со всех сторон стеснена светскими условностями, которые превращают жизнь в путаницу мелочных хлопот, в обнесенный стеной лабиринт, дорожки которого никуда не ведут, окружающие неизбежно винят ее в преувеличениях и непоследовательности. Ведь вместо того чтобы признавать заветы на словах и не следовать им на деле, Доротея стремилась как можно полнее познать то, что ей представлялось самым важным. Вся ее юная страсть преображалась пока в этот духовный голод, и супружество манило ее как избавление от ярма девического невежества, как свободное и добровольное подчинение мудрому проводнику, который поведет ее по величественнейшему из путей.

«Мне тогда надо будет заняться науками, – говорила она себе, продолжая идти по лесной дороге все тем же быстрым шагом. – Мой долг – учиться, чтобы я могла помогать ему в его великих трудах. В нашей жизни не будет ничего мелкого и пошлого. Великое и благородное – вот что станет нашими буднями. Словно бы я вышла замуж за Паскаля. Я научусь видеть истину так, как ее видели великие люди. И тогда мне откроется, что я должна буду делать, когда стану старше. Я пойму, как можно жить достойной жизнью здесь, сейчас, в Англии. Ведь пока я не уверена, какое, собственно, добро я могу делать. Точно идешь с Благой вестью к людям, языка которых не знаешь... Вот, правда, постройка хороших домов для арендаторов – тут никаких сомнений нет. Ах, я надеюсь, что сумею добиться, чтобы в Лоуике ни у кого не было плохого жилья! Надо начертить побольше планов, пока у меня еще есть время».

Тут Доротея опомнилась и выбрала себя за такое самоуверенное предвосхищение далеко еще не решенных событий, но ей не пришлось тратить усилий на то, чтобы занять свои мысли чем-то другим, так как из-за поворота навстречу ей легкой рысью выехал всадник на холеной гнедой лошади в сопровождении двух красавцев-сеттеров. Это мог быть только сэр Джеймс Четтем. Увидев Доротею, он тотчас спешился, отдал поводья груму и пошел ей навстречу, держа под мышкой что-то белое. Сеттеры с возбужденным лаем прыгали вокруг него.

– Какая приятная встреча, мисс Брук, – сказал он и приподнял шляпу, открыв волнистые рыжеватые волосы. – Она дарит мне то удовольствие, которое я только предвкушал.

Мисс Брук испытывала лишь досаду. Этот любезный баронет – бесспорно, прекрасная партия для Селии – слишком уж усердно старался угождать старшей сестре. Даже будущий зять покажется назойливым, если все время делает вид, будто отлично тебя понимает, и соглашается с тобой, даже когда ты ему прямо противоречишь. Мысль о том, что он в странном заблуждении ухаживает за ней самой, вообще не приходила Доротее в голову – слишком уж далеко это было от того, что всецело занимало ее ум. В эту же минуту он казался ей просто навязчивым, а его пухлые руки – противными. Она порозовела от раздражения и ответила на его приветствие с некоторым высокомерием.

Сэр Джеймс истолковал этот румянец наиболее лестным для себя образом и подумал, что никогда еще не видел мисс Брук столь красивой.

– Я захватил с собой маленького просителя, – сказал он. – А вернее, хочу показать его прежде, чем он решится изложить свою просьбу. – Он погладил белый клубок у себя под мышкой, который оказался щенком мальтийской болонки, чуть ли не самой прелестной игрушкой из всех созданных природой.

– Мне больно смотреть на существа, выведенные ради одной лишь забавы! – воскликнула Доротея, которая, как нередко случается, пришла к этому убеждению всего только миг назад под влиянием досады.

– Но почему же? – спросил сэра Джеймс и пошел с ней рядом.

– Мне кажется, они, как бы их ни баловали, не могут быть счастливы. Слишком уж они беспомощны и беззащитны. Ласка или мышь, сама добывающая себе пропитание, куда интереснее. Мне приятно думать, что окружающие нас животные обладают душами, почти такими же, как наши, и либо ведут свою собственную жизнь, либо разделяют нашу – вот как Монах. А эти создания – никчемные паразиты.

– Я очень рад, что они вам не нравятся, – заявил милейший сэра Джеймс. – Сам я никогда не завел бы мальтийскую болонку, но обычно барышни и дамы их просто обожают. Джон, забери-ка собачонку!

И недостойный щенок, чьи нос и глазки были равно черны и равно выразительны, перекочевал на руки груга, так как мисс Брук полагала, что он совершенно напрасно появился на свет. Однако она сочла своим долгом добавить:

– Но не судите о склонностях Селии по моим. Если не ошибаюсь, ей нравятся комнатные собачки. У нее прежде был карликовый терьер, и она его очень любила. А я страдала, потому что боялась нечаянно на него наступить. Я ведь близорука.

– У вас обо всем есть собственное мнение, мисс Брук, и всегда здоровое.

Ну что можно было ответить на столь глупый комплимент?

Доротея убыстрила шаг.

– А знаете, я завидую этому вашему умению, – добавил сэра Джеймс, продолжая идти с нею рядом.

– Не понимаю, о чем вы.

– Тому, как вы умеете составить собственное мнение. Я вот могу судить о людях. Я знаю, нравится мне человек или нет. Но во всем остальном мне часто бывает трудно принять решение. Ведь обязательно находятся разумные доводы и за, и против.

– То есть они кажутся разумными. Быть может, мы не всегда способны отличить разумное от неразумного.

Доротея почувствовала, что переступает границу вежливости.

– Совершенно верно, – согласился сэра Джеймс. – Но вот вы, по-видимому, наделены необходимой проницательностью.

– Напротив, мне нередко бывает трудно прийти к какому-нибудь решению. Но причиной тут неосведомленность. Правильное решение существует, хотя я и не способна его увидеть.

– А по-моему, в зоркости с вами мало кто может сравниться. Знаете, вчера Лавгуд говорил мне, что ваши планы домиков для арендаторов на редкость хороши – а уж для молодой барышни и подавно, как он выразился. И еще добавил, что таланта вам не занимать стать. Он сказал, что вы хотите, чтобы мистер Брук построил для своих арендаторов новые дома, но, по его мнению, ваш дядюшка вряд ли согласится. А знаете, это как раз входило в мои намерения, то есть обновить дома у меня в поместье. И я буду очень рад воспользоваться вашими чертежами, если вы мне их покажете. Конечно, деньги вернуть не удастся, вот почему многих это отпугивает. Арендаторы попросту не в состоянии платить за дома столько, чтобы эти расходы были полностью покрыты. И все-таки это стоит сделать.

– Стоит сделать! Ну конечно! – воскликнула Доротея, забывая недавнее мелочное раздражение. – Нас всех следовало бы прогнать из наших прекрасных домов бичом из веревок – всех, у кого арендаторы живут в лачугах, какие мы видим всюду в округе. Возможно, жизнь крестьян счастливее нашей, но при условии, что они живут в хороших домах, отвечающих всем нуждам людей, от которых мы ждем не только исполнения определенных обязанностей, но и преданности.

– Вы покажете мне свои чертежи?

– Разумеется. Наверное, они очень несовершенны. Но я изучила все планы деревенских домов в книге Лаудона и выбрала то, что мне в каждом показалось наилучшим. Какое это будет счастье – подать тут благой пример! Не Лазарь лежит у ворот здешних парков, а стоят лачуги, пригодные только для свиней.

От досады Доротеи не осталось и следа. Сэр Джеймс, муж ее сестры, строит образцовые домики в своем поместье, и, может быть, в Лоуике возводятся такие же, им начинают подражать повсюду в округе – словно дух Оберлина осенит эти приходы, украшая жизнь бедняков!

Сэр Джеймс посмотрел все чертежи, а один взял с собой, чтобы показать его Лавгуду, – и уходил он в приятном убеждении, что очень вырос во мнении мисс Брук. Мальтийская болонка преподнесена Селии не была – Доротея несколько удивилась, но тут же решила, что это ее вина: она слишком уж завладела вниманием сэра Джеймса. А впрочем, так, пожалуй, и лучше. Можно будет не бояться наступить на щенка.

Селия присутствовала при разговоре о чертежах и заметила заблуждение сэра Джеймса. «Он верит, что Додо интересуется им, а она интересуется только своими чертежами. Но может быть, она ему и не откажет, если решит, что он позволит ей командовать всем и будет исполнять любые ее высокие замыслы. И как же тяжело придется сэру Джеймсу! Терпеть не могу высоких замыслов!»

Эти мысленные выпады доставляли Селии большое удовольствие. Она не осмеливалась прямо высказать сестре свою нелюбовь к высоким замыслам, так как знала, что тут же получит доказательство того, насколько чужды ей истинные добродетели. Но при всяком удобном случае она исподтишка давала Доротее почувствовать правоту своей житейской мудрости и вынуждала сестру спускаться с небес на землю, обиняком намекнув, что на нее смотрят с недоумением и никто ее не слушает. Порывистость не была свойственна Селии, она не торопилась высказывать свое мнение, а решив высказать его, делала это всегда с одинаковой спокойной четкостью. Если люди говорили при ней с жаром и одушевлением, она молча разглядывала их лица. Ей было непонятно, как благовоспитанные люди соглашаются петь в обществе, – ведь при этом приходится разевать рот самым нелепым образом.

Совсем немного дней спустя мистер Кейсобон явился с утренним визитом и получил приглашение пожаловать на следующей неделе к обеду, с тем чтобы переночевать у них. Таким образом, Доротея смогла побеседовать с ним еще три раза и убедилась в верности своего первого впечатления. Он был совсем таким, каким рисовался ее воображению, – чуть ли не каждое произнесенное им слово казалось золотым самородком из неистощимых россыпей или надписью на двери музея, за которой таятся неисчислимые сокровища былых веков. Ее вера в его духовное богатство сделалась еще более глубокой и неколебимой теперь, когда стало ясно, что он посещает их дом ради нее. Этот ученейший мудрец снисходит до молоденькой девчонки и разговаривает с ней, не рассыпаясь в глупых комплиментах, но с уважением к ее уму, с готовностью научить и поправить. Как это восхитительно! Мистер Кейсобон, казалось, презирал пошлые светские разговоры и никогда не пытался болтать о пустяках, что у людей его склада всегда выходит тяжеловесно и доставляет окружающим столь же мало удовольствия, как черствый свадебный пирог, уже впитавший все запахи буфета. Он говорил только о том, что ему было интересно, или же молча слушал, вежливо и печально наклоняя голову. Доротея усматривала в этом обворожительное прямодушие, истинно религиозное воздержание от той искусственности и притворства, которые сушат душу. Ведь она благоговейно признавала неизмеримое превосходство мистера Кейсобона не только в уме и знаниях, но и в благочестии. То, что она говорила о своей вере, он одобрял, обычно приводя подходящую цитату, и даже сообщал, что в юности сам испытал духовные борения. Короче говоря, Доротея все более убеждалась, что тут она может рассчитывать на понимание, сочувствие и руководство. И лишь одна – всего одна – из дорогих ее сердцу идей не встретила у него поддержки. Мистер Кейсобон,

по-видимому, нисколько не интересовался постройкой домов для арендаторов и перевел разговор на чрезвычайное убожество жилищ древних египтян, словно указывая, что не следует придавать особого значения удобствам. После его ухода Доротея принялась раздумывать над этим равнодушием с растерянностью и тревогой, находя все новые и новые возражения, опиравшиеся на различие климатических условий, которые определяют человеческие нужды, а также на общепризнанную бесчувственность и жестокость языческих деспотов. Не следует ли ей изложить эти возражения мистеру Кейсобону, когда он приедет в следующий раз? Но, еще поразмыслив, она пришла к выводу, что и так уже злоупотребила его вниманием: у него есть более важные дела, но, конечно, он не будет против того, чтобы она занимала подобными заботами часы своего досуга, как другие женщины – рукоделием, не запретит ей, когда... Доротея вдруг устыдилась, поймав себя на подобных мыслях. Но ведь ее дядя приглашен погостить в Лоуике два дня – можно ли предположить, что мистера Кейсобона влечет лишь общество мистера Брука, с документами или без оных?

Меж тем это маленькое разочарование заставило ее еще больше радоваться готовности, с какой сэръ Джеймс Четтем собирался приступить к столь желанным улучшениям. Он приезжал к ним гораздо чаще мистера Кейсобона и больше не раздражал Доротею, так как, по-видимому, взялся за дело совершенно серьезно, уже оценивал выкладки мистера Лавгуда с практической точки зрения и мило соглашался решительно со всем. Она предложила начать с постройки двух домов, переселить в них две семьи и снести их старые лачуги, так чтобы дальше строить на их месте. Сэр Джеймс сказал: «Совершенно верно», – и Доротея не почувствовала ни малейшего раздражения!

Безусловно, мужчины, которых редко осеняют собственные идеи, под благотворным женским влиянием могут все-таки стать полезными членами общества, если не ошибутся в выборе свояченицы! Трудно сказать, насколько она действительно была слепа к тому, что здесь речь шла о выборе несколько иного свойства. Впрочем, жизнь ее в эти дни была весьма деятельной и полной надежд. Она не только обдумывала свои планы, но и отыскивала в библиотеке всевозможные ученые книги и спешно читала о самых разных предметах (чтобы не выглядеть чересчур уж невежественной в беседах с мистером Кейсобоном), при этом все время добросовестно взвешивая, не слишком ли большое значение придает она своим скромным успехам и не взирает ли на них с тем самодовольством, которое присуще лишь крайнему невежеству и легкомыслию.

Глава IV

Первый джентльмен

Деяньями своими мы оковы

Куюм себе.

Второй джентльмен

Да, это верно, но железо

Нам поставляет мир.

– Сэр Джеймс как будто твердо решил исполнять каждое твое желание, – сказала Селия, когда они возвращались в коляске домой, после того как осмотрели место будущей стройки.

– Он неплохой человек и гораздо разумнее, чем кажется на первый взгляд, – ответила Доротея без малейшего снисхождения.

– Ты хочешь сказать, что он кажется глупым?

– Нет-нет, – спохватившись, возразила Доротея и погладила руку сестры. – Но он не обо всем рассуждает одинаково хорошо.

– По-моему, это свойственно только очень неприятным людям, – заметила Селия с обычной своей манерой ласкового котенка. – Наверное, жить с ними ужасно! Только подумай – и за завтраком, и всегда!

Доротея засмеялась:

– Ах, Киска, ты удивительное создание!

Она пощекотала сестру под подбородком, так как в нынешнем своем настроении находила, что она очаровательна, прелестна, достойна в жизни иной стать небесным херувимом и – если бы самая мысль об этом не была кошунством – столь же мало нуждается в искуплении грехов, как резвая белочка.

– Ну конечно, людям вовсе не обязательно всегда рассуждать хорошо. Однако по тому, как они пытаются это делать, можно понять, каков их ум.

– То есть сэр Джеймс пытается, и у него ничего не выходит.

– Я говорю вообще. Почему ты допрашиваешь меня о сэре Джеймсе? Как будто цель его жизни – угождать мне!

– Неужели, Додо, ты и правда так думаешь?

– Разумеется. Он видит во мне будущую сестру, только и всего.

Доротея впервые позволила себе подобный намек: сестры всегда избегали разговоров на такие темы, и она выжидала развития событий. Селия порозовела, но тут же возразила:

– Тебе пора бы уже выйти из этого заблуждения, Додо. Когда Тэнтрип меня вчера причесывала, она сказала, что камердинер сэра Джеймса говорил горничной миссис Кэдуолледер, что сэр Джеймс женится на старшей мисс Брук.

– Селия, почему ты позволяешь Тэнтрип пересказывать тебе подобные сплетни? – негодуя спросила Доротея, сердясь тем более, что в ее памяти вдруг всплыли всевозможные забытые мелочи, которые с несомненностью подтверждали эту неприятную истину. – Значит, ты ее расспрашивала! Это унижительно.

– Что за беда, если я и слушаю болтовню Тэнтрип. Всегда полезно знать, что говорят люди. И видишь, какие ошибки ты делаешь, оттого что веришь собственным фантазиям. Я совершенно уверена, что сэр Джеймс намерен сделать тебе предложение и не ждет отказа – особенно теперь, когда он так угодил тебе этой постройкой. И дядя... Я знаю, он тоже не сомневается. Ведь все видят, что сэр Джеймс в тебя влюблен.

Разочарование Доротеи было столь сильным и мучительным, что из ее глаз хлынули слезы. Планы, которые она так лелеяла, оказались оскверненными. Ей была отвратительна мысль, что сэр Джеймс вообразил, будто она принимает его ухаживания. И она сердилась на него из-за Селии.

– Но с какой стати он так думает! – воскликнула она с гордым возмущением. – Я никогда ни в чем с ним не соглашалась, если не считать постройки новых домов, а до этого держалась с ним чуть ли не грубо.

– Зато после ты была им так довольна, что он уверился в твоей взаимности.

– В моей взаимности! Селия, как ты можешь употреблять такие гадкие выражения? – с жаром спросила Доротея.

– Но, Доротея, ведь ты и должна отвечать взаимностью человеку, женой которого согласишься стать.

– Утверждать, что сэр Джеймс мог подумать, будто я отвечаю ему взаимностью, – значит оскорблять меня. К тому же это слово вовсе не подходит для моего чувства к человеку, чьей женой я соглашусь стать.

– Что же, мне очень жаль сэра Джеймса. Я решила тебя предупредить, потому что ты всегда идешь, куда тебе заблагорассудится, и не смотришь, где ты и что у тебя под ногами. Ты всегда видишь то, чего никто другой не видит. На тебя невозможно угодить, и тем не менее ты не видишь самых простых вещей. Вот что можно о тебе сказать, Додо.

Селия обычно робела перед сестрой, но теперь что-то явно придало ей храбрости, и она ее не щадила. Кто может сказать, какие справедливые упреки Кот Мурр бросает нам, существам, мыслящим более высоко?

– Как это тяжело! – сказала Доротея, чувствуя себя так, словно ее исполосовали бичами. – Мне больше нельзя следить за строительством. И придется быть с ним невежливой. Я должна сказать ему, что больше туда не поеду. Это очень тяжело! – И ее глаза вновь наполнились слезами.

– погоди! Подумай немножко. Ты же знаешь, что он уезжает на день-два повидать сестру. И там не будет никого, кроме Лавгуда, – сказала Селия, сжалившись над ней. – Бедняжка Додо, – продолжала она с обычной спокойной четкостью, – конечно, это нелегко, ты ведь обожаешь чертить планы.

– Обожаю чертить планы! Неужели ты думаешь, что жилища моих ближних интересуют меня только по этой детской причине? Еще бы мне не ошибаться! Какие благородные христианские дела возможны, когда живешь среди людей со столь мелочными мыслями?

На этом разговор оборвался. Доротея от огорчения утратила способность судить здраво и не желала признать, что могла быть в чем-то не права. Она во всем винила невыносимую узость и духовную слепоту окружающего общества, а Селия из небесного херувима стала терном, язвящим ее душу, бело-розовым воплощением скепсиса, куда более опасным, чем все духи сомнения в «Пути Паломника». Она обожает чертить планы! Чего стоит жизнь... о какой великой вере может идти речь, если всем твоим поступкам подводится такой уничижительный итог?

Когда Доротея вышла из коляски, лицо ее было бледным, а веки – красными. Она казалась воплощением скорби, и дядя, встретивший их в передней, конечно, встревожился бы, если бы рядом с ней не шла Селия, такая спокойная и хорошенькая, что он тут же приписал слезы Доротеи ее религиозной восторженности. Он только что вернулся из города, куда ездил по поводу петиции о помиловании какого-то преступника.

– Ну, милочки мои, – сказал он ласково, когда они подошли поцеловать его, – надеюсь, во время моего отсутствия тут не случилось ничего неприятного?

– Нет, дядюшка, – ответила Селия. – Мы ездили во Фрешит поглядеть на дома арендаторов. Мы думали, вы вернетесь домой ко второму завтраку.

– Я возвращался через Лоуик и позавтракал там. Вы ведь не могли знать, что я поеду через Лоуик. И знаешь ли, Доротея, я привез тебе два трактата – они в библиотеке. Они лежат на столе в библиотеке.

По жилам Доротеи словно пробежало электричество, отчаяние сменилось радостным предвкушением. Трактаты о ранней христианской церкви! Селия, Тэнтрип и сэр Джеймс были тотчас забыты, и она поспешила в библиотеку. Селия поднялась наверх. Мистер Брук задержался в прихожей, и, когда он вернулся в библиотеку, Доротея уже углубилась в один из трактатов с заметками мистера Кейсобона на полях, упиваясь чтением, словно ароматом душистого букета после долгой и утомительной прогулки под палящим солнцем.

Типтон, Фрешит и ее собственная злополучная привычка не видеть на пути в Новый Иерусалим того, что у нее под ногами, уже отодвинулись далеко-далеко.

Мистер Брук опустил в свое кресло, вытянул ноги к камину, где поленья уже рассыпались горкой золотых углей, и, тихонько потирая руки, поглядывал на Доротею, но так, словно у него не было никаких интересных для нее новостей. Заметив присутствие дяди, Доротея сразу закрыла трактат и поднялась, чтобы уйти. При обычных обстоятельствах она спросила бы, чем завершились его милосердные старания облегчить участь преступника, но недавнее волнение заслонило от нее все остальное.

– Я возвращался через Лоуик, знаешь ли, – сказал мистер Брук так, словно вовсе не хотел ее задержать, а просто по привычке повторял уже раз сказанное. Этот принцип, лежащий в основе человеческой речи, у мистера Брука проявлялся с особой наглядностью. – Я позавтракал там, посмотрел библиотеку Кейсобона, ну и так далее. Погода нынче довольно холодная для поездок в открытом экипаже. Не присядешь ли, милочка? Ты как будто озябла.

Это приглашение обрадовало Доротею. Хотя благодушное спокойствие дядюшки нередко раздражало ее, порой она, наоборот, находила его успокоительным. Она сняла накидку и шляпку и села напротив мистера Брука, с удовольствием ощущая жар камина. Но тут же подняла свои красивые руки, чтобы заслонить лицо. Эти руки были не тонкими, не миниатюрными, но сильными, женственными, материнскими. И казалось, что она воздела их, словно умоляя о прощении за свое страстное желание познавать и мыслить, которое в чуждой атмосфере Типтона и Фрешита приводило к слезам и покрасневшим векам.

Теперь она вспомнила про осужденного преступника.

– Что вам удалось сделать для этого овечьего вора, дядюшка?

– А? Для бедняги Банча? По-видимому, мы ничего не добились. Его повесят.

Лицо Доротеи выразило негодование и жалость.

– Повесят, знаешь ли, – повторил мистер Брук, тихо кивая. – Бедняга Ромили! Он бы нам помог. Я был знаком с Ромили. Кейсобон не был знаком с Ромили. Он слишком уж занят книгами, знаешь ли, то есть Кейсобон.

– Когда человек предается ученым занятиям и пишет великий труд, он, конечно, мало бывает в свете. Откуда ему взять время на то, чтобы разъезжать и заводить знакомства?

– Это верно. Но, знаешь ли, человек начинает тосковать. Я тоже всегда был холостяком, но у меня такая натура, что я никогда не тоскую. Мой обычай – ездить повсюду, черпать всевозможные идеи. Я никогда не поддавался тоске, а вот Кейсобон поддается. Я, знаешь ли, вижу. Ему нужен кто-то, кто был бы рядом с ним. Рядом с ним, знаешь ли.

– Быть рядом с ним – это великая честь! – воскликнула Доротея.

– Он тебе нравится, э? – сказал мистер Брук, не выказывая ни удивления, ни какого-либо другого чувства. – Ну, я знаком с Кейсобоном десять лет. С тех самых пор, как он поселился в Лоуике. Но мне так и не удалось ничего от него добиться – в смысле идей, знаешь ли. Однако человек он превосходный и, возможно, будет епископом – или чем-нибудь в том же роде, – если Пиль останется у власти. И он весьма высокого мнения о тебе, милочка.

Доротея почувствовала, что не в силах вымолвить ни слова.

– Дело в том, что он о тебе самого высокого мнения. И изъясняется на редкость хорошо – то есть Кейсобон изъясняется. Он обратился ко мне, потому что ты еще несовершеннолетняя. Ну, в общем, я обещал ему поговорить с тобой, хотя и сказал, что надежды мало. Я был обязан сказать ему это. Я сказал: моя племянница еще очень молода, ну и так далее. Как бы то ни было, он, короче говоря, обратился ко мне за разрешением просить твоего согласия на брак с ним. На брак, знаешь ли, – заключил мистер Брук с обычным пояснительным кивком. – И я счел, что мне следует сообщить тебе об этом.

Хотя никто не сумел бы подметить беспокойства в тоне мистера Брука, он тем не менее был бы искренне рад узнать намерения своей племянницы, чтобы вовремя преподать ей нужный совет, если такой совет понадобится. В той мере, в какой он, мировой судья, почерпнувший такое множество всевозможных идей, был еще способен на чувства, чувства эти оставались самыми благожелательными. Доротея не отвечала, и он повторил:

– Я счел, что мне следует сообщить тебе об этом.

– Спасибо, дядюшка, – произнесла Доротея звонким решительным голосом. – Я очень благодарна мистеру Кейсобону. Если он сделает мне предложение, я отвечу согласием. Я почи-
таю его и восхищаюсь им, как никем другим.

Мистер Брук помолчал, а затем протянул негромко:

– Э-э? Ну что же. В некоторых отношениях он отличная партия. Но и Четтем – отличная партия. И наши земли граничат. Я никогда не пойду наперекор твоим желаниям. Когда речь идет о браке, люди должны решать сами, ну и так далее... До определенного предела, знаешь ли. Я всегда это говорил: до определенного предела. Я хочу, чтобы твое замужество было удачным. И у меня есть веские основания полагать, что Четтем хочет жениться на тебе. Впрочем, это я так, знаешь ли.

– О том, чтобы я вышла за сэра Джеймса, вообще не может быть и речи, – сказала Доротея. – И он глубоко заблуждается, если думает, что я когда-нибудь приму его предложение.

– То-то и оно. Никогда нельзя знать заранее. Я бы сказал, что Четтем – как раз такой мужчина, какие нравятся женщинам.

– Прошу вас, дядюшка, больше никогда не говорите со мной о нем в подобной связи! – воскликнула Доротея, чувствуя, как в ней просыпается обычное раздражение.

Мистер Брук выслушал ее с полным недоумением и подумал, что женщины – поистине неисчерпаемый предмет для изучения, раз уж даже ему в его возрасте не удастся верно предсказать их решения и поступки. Вот Четтем – во всех отношениях отличный жених, а она о нем даже слышать не хочет.

– Ну, так о Кейсобоне. Нужды торопиться нет никакой. То есть тебе. На нем, конечно, каждый год будет сказываться. Ему, знаешь ли, далеко за сорок пять. Он лет на двадцать семь старше тебя. Но, конечно, если тебя влечет ученость, ну и так далее, от чего-то приходится отказаться. И он располагает недурным доходом – у него порядочное собственное состояние, помимо того, что он получает как священнослужитель. Да, он располагает недурным доходом. Тем не менее он уже немолод, и не скрою от тебя, милочка, что его здоровье, мне кажется, оставляет желать лучшего. Но ничего другого, что можно было бы поставить ему в упрек, я не знаю.

– Я не хотела бы выйти замуж за человека, близкого мне по возрасту, – сказала Доротея с глубокой серьезностью. – Мой муж должен далеко превосходить меня и мудростью и знаниями.

Мистер Брук вновь протянул свое «э-э» и добавил:

– А мне казалось, что ты любишь полагаться на собственное мнение гораздо больше, чем это водится у молодых девиц. Мне казалось, что ты любишь иметь собственное мнение, любишь его иметь, знаешь ли.

– Конечно, собственное мнение необходимо, но оно должно быть обоснованным, а мудрый руководитель подскажет мне наилучшие обоснования и поможет жить в соответствии с ними.

– Совершенно верно. Лучше не скажешь, то есть не подготовившись заранее, знаешь ли. Но ведь бывают всякие исключения, – продолжал мистер Брук, чья совесть настоятельно требовала, чтобы он всемерно помог племяннице, стоящей перед столь важным решением. – Жизнь ведь не отливается в формах, не кроится точно по мерке, ну и так далее. Я вот не женился – к лучшему для тебя и для твоих будущих детей. Дело в том, что мне не довелось полюбить настолько сильно, чтобы ради предмета своего чувства сунуть голову в петлю. А ведь это петля, знаешь ли. Характер, например. Есть такая вещь, как характер. А муж хочет быть хозяином в своем доме.

– Я знаю, что мне предстоят нелегкие испытания, дядюшка. Брак подразумевает исполнение высшего долга. Я никогда не считала, что он должен давать одни привилегии и удовольствия, – ответила бедняжка Доротея.

– Конечно, тебя не влечет роскошь – открытый дом, балы, званые обеды, ну и так далее. Пожалуй, образ жизни Кейсобона может быть тебе ближе, чем образ жизни Четтема. И ты поступишь, как сама считаешь нужным, милочка. Я не стану мешать Кейсобону, я так сразу и сказал. Ведь заранее невозможно знать, как все обернется в дальнейшем. Ты не похожа на других молодых барышень, и ученый священник, а в будущем, возможно, епископ и так далее, может подойти тебе больше Четтема. Четтем – отличный малый, добрый и достойный молодой человек, но не слишком интересуется отвлеченными идеями. Не то что я в его возрасте. Но у Кейсобона слабое зрение. Мне кажется, он испортил глаза постоянным чтением.

– Чем больше я смогу помогать ему, дядюшка, тем счастливее я буду, – пылко сказала Доротея.

– Ты, я вижу, уже все решила. Ну, милочка, по правде говоря, я привез тебе письмо. – И, достав из кармана запечатанный конверт, мистер Брук протянул его Доротее. Однако, когда она поднялась, собираясь уйти, он добавил: – Торопиться особенно незачем, милочка. Лучше все хорошенько обдумать, знаешь ли.

Оставшись один, он решил, что говорил с большой убедительностью и весьма выразительно обрисовал ей связанный с браком риск. Он исполнил свой долг. Ну, а давать советы молодежи... ни один дядя, пусть даже он много путешествовал в дни юности, почерпнул все новые идеи и обедал со знаменитостями, ныне покойными, не возьмется предсказывать, какой брак может сделать счастливой девицу, способную предпочесть Кейсобона Четтему. Короче говоря, женщина – это загадка, которая, раз уж перед ней пасовал ум мистера Брука, по сложности не уступала вращению неправильного твердого тела.

Глава V

Те, кто предаётся ученым занятиям, обычно страдают подагрой, катарам, насморками, худосочием, констипациями, слабостью зрения, камнями и коликами, несварением желудка, геморроями, головокружениями, ветрами, чахоткой и другими подобными же недугами, происходящими от сидячей жизни; такие люди по большей части отличаются худобой, сухопаростью и дурным цветом лица... и все из-за неумеренного рвения и редкостного прилежания. Если вы не верите в истинность вышеуказанного, то взгляните на великого Тостатуса, вспомните труды Фомы Аквинского и скажите мне, был ли предел рвению этих людей.

Роберт Бертон. Анатомия меланхолии

В письме мистера Кейсобона содержалось следующее:

«Дражайшая мисс Брук! Я получил разрешение Вашего опекуна обратиться к Вам касательно предмета, наиболее близкого сейчас моему сердцу. Не думаю, чтобы я ошибался, усматривая не простое совпадение в том, что сознание некоей неполноты в моей жизни пришло ко мне именно тогда, когда мне открылась возможность познакомиться с Вами. В первый же час этого знакомства мне стало ясно, насколько Вы – и, быть может, лишь Вы одна – подходите для восполнения этой неполноты (связанной, должен я объяснить, с той потребностью в нежности, которую даже всепоглощающие занятия трудом, слишком важным, чтобы от него можно было отказаться, все-таки не подавили вполне); и каждый новый случай для наблюдений усугублял это впечатление, все более убеждая меня, что Вы – именно та, какой я почел Вас с самого начала, и в результате все более пробуждая упомянутую выше нежность. Наши беседы, я полагаю, дали Вам достаточное понятие об образе и цели моей жизни, которые, как мне хорошо известно, не подходят для обыденных натур. Но в Вас я обнаружил такую возвышенность мысли и ревностность веры, какие до сих пор представлялись мне несовместимыми ни с ранним цветением юности, ни с теми свойственными Вашему полу чарами, каковые, скажем сразу же, пленяют и облагораживают, когда соединяются, как, вне всякого сомнения, они соединяются в Вас, с названными выше духовными свойствами. Признаюсь, я не питал надежды когда-либо встретить столь редкое сочетание как истинной серьезности, так и пленительности, способных и подать помощь в важных трудах, и украсить час досуга; и если бы я не был Вам представлен (в чем, разрешите мне повторить, я усматриваю отнюдь не случайное совпадение с осознанием вышеуказанной неполноты, но предусмотренную Провидением ступень, ведущую к полнейшему завершению жизненного плана), то я предположительно окончил бы свои дни, так и не попытавшись озарить мое одиночество брачным союзом.

Вот, дражайшая мисс Брук, точный отчет о состоянии моих чувств, и я полагаюсь на Вашу благожелательную снисходительность, осмеливаясь задать Вам вопрос, в какой мере состояние Ваших собственных чувств оправдывает мои счастливые чаяния. Ваше согласие видеть во мне мужа и земного хранителя Вашего благополучия я сочту величайшим даром Провидения. Я же могу отплатить Вам нежностью, ни на кого до сей поры не излитой, и посвятить Вам жизнь, в коей, хотя большая ее часть, возможно, уже позади, не отыщется

ни единой страницы, буде Вы сообразоволяте пролистать их назад, с записью, которую Вы прочитали бы с неодобрением или стыдом. Я ожидаю изъавления Ваших чувств с волнением, которое, как подсказывает мудрость, следовало бы утишить – если бы это было возможно! – занятиями более усердными, нежели обычно. Но в этой области жизненного опыта я еще юноша, и при мысли о неблагоприятном исходе не могу скрыть от себя, насколько труднее будет смириться с одиночеством после недолгого озарения надеждой.

В любом случае я остаюсь искренне преданный Вам
Эдвард Кейсобон».

Читая это письмо, Доротея трепетала. Потом она упала на колени, спрятала лицо в ладонях и разрыдалась. Молиться она не могла, ее мысли мешались от нахлынувших чувств, в глазах мутилось, и она по-детски отдалась ощущению, что все свершается по Божественному произволению. В этой позе она оставалась до тех пор, пока не наступило время переодеваться к обеду.

Разве могло ей прийти в голову обдумать это письмо, взыскательно оценить подобное признание в любви? Она понимала лишь одно: перед ней открывается новая, более полная жизнь. Она была послушницей, ожидающей посвящения. Теперь она найдет применение энергии, которая беспокойно билась в смутно осознаваемых узах ее собственного невежества и мелочных обычаев света.

Теперь она сможет посвятить себя более важным и в то же время ясным обязанностям; теперь ей будет дано постоянно пребывать в сиянии разума, который она почитает. К этой надежде примешивались и гордая радость, и блаженное девичье удивление, что ее избрал тот, кому она отдала свое поклонение. Все чувства Доротеи проходили через фильтр рассудка, устремленного к идеальной жизни. Отблески ее собственных юных мечтаний и надежд озарили первый же предмет, который она могла вознести на желанную высоту. А стремительность, с какой склонность воплотилась в решимость, отчасти объяснялась мелкими происшествиями этого дня, которые заново пробудили в ней недовольство условиями ее жизни.

После обеда, когда Селия принялась разыгрывать «арию с вариациями» (звонкий пустячок, своего рода символ эстетической стороны воспитания молодых девиц), Доротея поднялась к себе, чтобы ответить на письмо мистера Кейсобона. К чему медлить? Она трижды переписывала свой ответ – не потому, что хотела изменить то или иное слово, но просто ее рука против обыкновения дрожала, а мысль, что мистер Кейсобон сочтет ее почерк недостаточно четким и красивым, была для нее непереносима. Она гордилась тем, что каждую ее букву можно было прочесть сразу же, не теряясь в догадках, и намеревалась в полной мере использовать свой каллиграфический талант, чтобы щадить глаза мистера Кейсобона. Вот что она написала трижды:

«Дорогой мистер Кейсобон, я очень благодарна Вам за то, что Вы меня любите и считаете достойной стать Вашей женой. Я не в силах представить себе большего счастья, чем счастье, разделенное с Вами. Если бы я попыталась что-нибудь добавить, то лишь написала бы то же самое, только пространнее, ибо сейчас у меня нет иной мысли, кроме той, что до конца дней моих я буду преданно Ваша
Доротея Брук».

Потом она пошла к дяде в библиотеку и вручила ему свое письмо, чтобы он отправил его утром. Мистер Брук удивился, но его удивление выразилось только в том, что он две-три минуты молчал, перекладывая какие-то бумаги и переставляя разные вещицы на своем столе, а затем встал спиной к камину, поправил очки и несколько раз перечитал адрес на конверте.

– Милочка, а достаточно ли времени было у тебя, чтобы подумать хорошенько? – спросил он наконец.

– Мне незачем было долго думать, дядюшка. У меня нет никаких причин для колебаний. Изменить свое решение я могла бы, только если бы узнала что-то важное и прежде мне неизвестное.

– А! Так, значит, ты дала ему согласие? И Четтему не на что надеяться? Может быть, Четтем тебя чем-то обидел... ну, знаешь ли, обидел? Что тебе не нравится в Четтеме?

– Нет ничего, что мне в нем нравилось бы, – ответила Доротея запальчиво.

Мистер Брук откинулся назад, словно в него бросили чем-то не очень тяжелым. Доротея тут же ощутила легкие угрызения совести и сказала:

– То есть если иметь в виду замужество. А вообще он, по-моему, хороший человек – вот, скажем, новые дома для его арендаторов. Да, он хороший, доброжелательный человек.

– Но тебе требуется ученый, ну и так далее? Что же, это у нас отчасти семейное. И мне она была свойственна – эта любовь к знаниям, стремление приобщиться ко всему... Даже в некотором избытке, так что завела меня слишком далеко. Хотя, как правило, подобные вещи женщинам не передаются или же остаются скрытыми, точно, знаешь ли, подземные реки в Греции, и выходят на поверхность лишь в их сыновьях. Умные сыновья – умные матери. Одно время я изучал этот вопрос довольно подробно. Однако, милочка, я всегда утверждал, что в этих вещах люди должны поступать по своему усмотрению – в определенных пределах, конечно. Как твой опекун, я не имел бы права дать согласия, если бы речь шла о плохой партии. Но Кейсобон – солидный человек, у него прекрасное положение. Боюсь только, что Четтем огорчится, а миссис Кэдуолледер во всем обвинит меня.

Селия, разумеется, ничего об этих событиях не знала, и, заметив рассеянность сестры, а также по некоторым признакам заключив, что Доротея после возвращения домой опять плакала, она решила, что та все еще сердится из-за сэра Джеймса и домов, и постаралась больше не касаться большого места. Раз высказавшись, Селия не имела обыкновения возвращаться к неприятным темам. В детстве она никогда ни с кем не ссорилась, а когда другие дети ссорились с ней, только недоумевала, почему они надуваются точно индюки, и готова была играть с ними в веревочку, едва их досада проходила. Доротея же всегда умела находить в словах сестры что-нибудь, что ее задевало, хотя, мысленно возражала Селия, она ведь только говорит то, что есть, и ничего не сочиняет и не выдумывает. Впрочем, одного у Додо отнять нельзя: она никогда долго не сердится. Вот и теперь они за весь вечер ни словом не перемолвились, но стоило Селии отложить шитье (она всегда ложилась спать раньше сестры), как Доротея, которая сидела на низеньком табурете и предавалась размышлениям, не в силах ничем заняться, сказала тем мелодичным голосом, который в минуты скрытого, но глубокого душевного волнения придавал ее речи особую торжественность:

– Селия, душечка, подойди и поцелуй меня, – и открыла ей объятия.

Селия опустилась на колени, чтобы не наклоняться, и легонько прикоснулась губами к ее щеке. Доротея же нежно обвила сестру руками и запечатлела по поцелую на обеих ее розовых щечках.

– Не засиживайся, Додо, ты сегодня что-то бледная, иди поскорее спать, – спокойно посоветовала Селия.

– Нет, душечка, я очень-очень счастлива! – пылко воскликнула Доротея.

«Тем лучше, – подумала Селия. – Но как странно Додо впадает то в одну крайность, то в другую».

На следующий день во время второго завтрака дворецкий подал что-то мистеру Бруку и доложил:

– Джон вернулся, сэр, и привез это письмо.

Мистер Брук прочел письмо, повернулся к Доротее и сказал:

– От Кейсобона, милочка, он придет к обеду. Он спешил поскорее послать ответ и не стал писать больше, он, знаешь ли, спешил послать ответ.

Селия не удивилась, что Доротею предупреждают о приезде к обеду гостя, но, вслед за мистером Бруком поглядев на сестру, она была поражена происшедшей в ней переменой. Казалось, по ее лицу скользнул отблеск белого, озаренного солнцем крыла, а на щеках появился столь редкий на них румянец. Только тут Селии пришло в голову, что мистера Кейсобона и ее сестру связывает нечто большее, чем его склонность учено рассуждать и ее жажда внимать ученым рассуждениям. До сих пор она полагала, что Доротея восхищается этим «некрасивым» и полным книжной премудрости знакомым, как в Лозанне восхищалась мосье Лире, тоже некрасивым и полным книжной премудрости. Доротея готова была без конца слушать старичка мосье Лире, а у Селии ноги превращались в ледышки, и она уже больше не могла смотреть на его подергивающуюся лысину. Почему же и мистеру Кейсобону не заморозить Доротею, как замораживал ее мосье Лире? И уж конечно такие ученые люди, точно школьные наставники, видят в молоденьких девушках просто прилежных учениц!

Вот почему Селия была несколько ошеломлена мелькнувшим у нее подозрением. Перемены редко заставляли ее врасплох – она обладала незаурядной наблюдательностью и обычно по ряду признаков заранее угадывала интересовавшее ее событие. Правда, даже теперь ей и в голову не пришло, что мистер Кейсобон уже получил согласие ее сестры, и она лишь возмутилась при мысли, что Доротея, пожалуй, способна дать такое согласие. Нет, все-таки с Додо не хватит никакого терпения! Отказать сэру Джеймсу Четтему – это одно дело, но хотя бы подумать о том, чтобы выйти за мистера Кейсобона... Селии было и стыдно за сестру, и смешно. Но если у Додо и правда есть такое опрометчивое намерение, ее следует от него отвлечь – тут, как не раз случалось прежде, можно использовать ее впечатлительность. День был дождливый, и они не пошли гулять, а поднялись к себе в гостиную, где Доротея, заметила про себя Селия, вместо того чтобы, по обыкновению, прилежно взяться за какую-нибудь работу, просто облокотилась на открытую книгу и устремила взгляд в окно на старый кедр, серебряный от дождевых капель. Сама она принялась доканчивать игрушку, которую хотела подарить детям младшего священника, и не спешила начинать разговор, чтобы не испортить дела торопливостью.

Собственно говоря, Доротея как раз думала о том, что следовало бы сообщить Селии о важнейшей перемене, происшедшей в статусе мистера Кейсобона с тех пор, как он в последний раз был у них, – ведь нечестно скрывать от нее то, что волей-неволей должно изменить ее отношение к нему. И все-таки заговорить с ней об этом почему-то было трудно. Доротея рассердилась на себя за такую робость – она не привыкла смущаться своих поступков или оправдывать их, даже мысль об этом была для нее невыносима, однако теперь она искала опоры в самых высоких идеалах, чтобы противостоять разъедающему воздействию проникнутой плотским духом житейской философии своей сестры. От этих размышлений ее, кладя конец колебаниям, отвлек тоненький и чуть гортанный голосок Селии, которая обычным тоном спросила словно между прочим:

– А кроме мистера Кейсобона, кто-нибудь еще к обеду приедет?

– Насколько я знаю, нет.

– Хорошо бы, если бы кто-нибудь все-таки приехал! Тогда мне будет не так слышно, как он ест суп.

– Как же он его ест?

– Ну право, Додо! Он же возит ложкой по дну тарелки, ты не слышала? И он всегда моргает, прежде чем заговорить. Не знаю, моргал Локк или нет, но если моргал, то можно только пожалеть тех, кто сидел напротив него за столом.

– Селия, – сказала Доротея серьезно и взволнованно, – прошу тебя больше ничего подобного не говорить!

– Но почему? Это же правда! – возразила Селия, у которой были свои причины не отступать, хотя она уже немножко оробела.

– Есть много вещей, которые замечают лишь люди с самым пошлым складом ума.

– Значит, и пошлый склад ума бывает полезен. По-моему, можно только пожалеть, что у матушки мистера Кейсобона склад ума не был пошлее, тогда бы она лучше следила за его манерами. – Метнув этот легкий дротик, Селия совсем перепугалась и готова была спасаться бегством.

Доротея не могла более сдерживать лавину своих чувств.

– Мне следует сообщить тебе, Селия, что я помолвлена с мистером Кейсобоном.

Пожалуй, Селия еще никогда так не бледнела. Если бы не ее редкая аккуратность, бумажный человечек, которого она вырезывала, конечно, остался бы без ноги. Она тут же положила его на стол и несколько секунд сидела в полной неподвижности. Когда она заговорила, в ее голосе слышались слезы:

– Ах, Додо, надеюсь, ты будешь счастлива.

В этот миг привязанность к сестре взяла верх над всеми остальными чувствами и принесла с собой опасения за ее будущее.

Но Доротея все еще была обижена и взволнована.

– Так, значит, это уже решено? – испуганным шепотом спросила Селия. – И дядя знает?

– Я приняла предложение мистера Кейсобона. Письмо с предложением мне привез дядя, и он знал его содержание.

– Прости, Додо, если я сказала что-нибудь для тебя неприятное, – пробормотала Селия, подавляя рыдание. Ничего подобного она от себя не ждала, но во всем этом было что-то похоронное, и мистер Кейсобон представлялся ей священником, который творит заупокойную молитву, а потому в нем неприлично замечать смешные недостатки.

– Ну, не огорчайся, Киска. Просто нам нравятся разные люди. Я сама повинна в том же: у меня есть привычка говорить резко о людях, которые мне несимпатичны.

Несмотря на это великодушное прощение, Доротея все еще была не в силах успокоиться, – возможно, удивление Селии уязвило ее даже больше придинок к манерам мистера Кейсобона. Разумеется, вся округа отнесется к такому браку весьма холодно. Тут ведь никто не разделяет ее взглядов на жизнь и на высшие цели жизни.

Тем не менее еще до наступления вечера к ней вернулось ощущение счастья. Они с мистером Кейсобоном более часа беседовали наедине, и она говорила с ним гораздо свободнее, чем раньше, даже рассказала, какую радость доставляет ей мысль о том, как она посвятит ему всю себя, как постарается научиться помогать ему во всех его великих трудах. Мистера Кейсобона восхитила (да и какой мужчина на его месте остался бы равнодушным?) эта детская безыскусственная пылкость, породившая в нем незнакомое дотоле приятное чувство, но его не удивило (да и какой влюбленный на его месте удивился бы?), что он мог вызвать такое обожание.

– Милейшая барышня мисс Брук... Доротея! – сказал он, сжимая в ладонях ее руку. – Я не мог и вообразить, что мне уготовано такое счастье. Признаюсь, я не питал надежды, что мне суждено будет встретить ту, чей дух и особа будут настолько богато одарены, чтобы сделать мысль о браке привлекательной. Вы обладаете всеми... нет, более чем всеми теми качествами, которые я всегда считал атрибутами женского совершенства. Великая прелесть вашего пола заключается в пылкой беззаветной привязанности, предназначенной для того, чтобы придавать законченность и завершенность нашему собственному существованию. До сих пор я знал мало радостей, исключая лишь некоторые самого строгого свойства, и удовольствия мои были лишь теми, какие даруют ученые занятия человеку, ведущему одинокую жизнь. Мне не хотелось собирать цветы, которые лишь увядали бы в моей руке, но теперь я буду рвать их ревностно, дабы приколоть к вашей груди.

Если иметь в виду чувства говорившего, никакая речь не могла прозвучать правдивее этой; завершавшая ее холодная риторическая фигура была столь же искренней, как лай собаки

или карканье влюбленного грача. Не слишком ли поспешным было бы заключение, что за сонетами к Делии, звонкими, как стеклянные переборы мандолины, не крылось страсти?

Вера Доротеи восполняла то, чего не заключали в себе слова мистера Кейсобона, – какой верующий заметит зловещее упущение или иное дурное предзнаменование? Почитаемый текст, принадлежит ли он пророку или поэту, включает все, что мы способны в него вложить, и даже попадающиеся в нем погрешности против грамматики вызывают благоговение.

– Я очень невежественна. Мое невежество будет вас постоянно удивлять, – сказала Доротея. – У меня столько мыслей, которые могут быть совсем неверными, и теперь мне можно будет рассказать о них вам и узнать ваше мнение. Однако, – добавила она, тут же вообразив, как мог мистер Кейсобон отнестись к подобному намерению, – я не буду докучать вам слишком уж часто. Только когда у вас будет желание выслушать меня. Ведь ваши занятия, несомненно, должны вас очень утомлять. А мне будет достаточно, если вы приобщите меня к ним.

– Разве я могу теперь не разделить с вами все мои занятия? – сказал мистер Кейсобон и поцеловал ее в лоб, убежденный, что Небеса ниспослали ему драгоценный подарок, во всех отношениях отвечающий его своеобразным нуждам. Он бессознательно поддавался очарованию натуры, не способной ни на какие тайные расчеты, шло ли дело о немедленных результатах или об отдаленных планах. Именно это свойство делало Доротею такой детски наивной или же – по мнению некоторых судей – такой глупой вопреки ее хваленому уму, как, например, в данном случае, когда она, фигурально выражаясь, бросилась к ногам мистера Кейсобона и целовала шнурки его старомодных башмаков, словно он был протестантским папой. Она нисколько не понуждала мистера Кейсобона задаться вопросом, достоин ли он ее, и лишь тревожно спрашивала себя, как ей стать достойной мистера Кейсобона. На следующее утро, когда он собрался уезжать, уже было решено, что свадьба состоится через полтора месяца. Зачем откладывать? Никаких особых приготовлений не требовалось. Мистер Кейсобон жил не в домике при церкви, а в прекрасном, окруженном обширным парком помещичьем доме, который не нуждался ни в малейших переделках. В церковном же доме жил младший священник, которому мистер Кейсобон передал все свои обязанности, за исключением утренних проповедей.

Глава VI

*Ее язык подобен стеблям трав,
Что режут руку, гладящую их,
Духовным лезвием она на диво
Разрежет и горчичное зерно,
Сокровища нетленные собирая.*

Когда карета мистера Кейсобона выезжала из ворот парка, перед ними, пропуская ее, остановился легкий фаэтон. Он был запряжен низкорослой лошадкой, и правила дама, а слуга сидел сзади. По всей вероятности, мистер Кейсобон не узнал эту даму, потому что его рассеянный взор был устремлен прямо вперед, но она оказалась более зоркой и успела не только кивнуть, но и произнести «как поживаете?». Хотя шляпка дамы была ненова, а индийская шаль так даже и очень стара, привратница, если судить по почтительному книксену, которым она встретила маленький фаэтон, несомненно, считала ее весьма важной особой.

– А, миссис Фитчет! Ну, и хорошо ли теперь несутся ваши куры? – осведомилась краснотлицая темноглазая дама, чеканя слова.

– Несутся-то неплохо, сударыня, да только взяли привычку расклевывать яички, чуть их снесут. Никакого сладу с ними нет.

– Ах они каннибалки! Лучше избавьтесь от них по дешевой цене, да поскорее. Сколько возьмете за пару? Никто же не будет по дорогой цене есть кур со скверными привычками!

– Да что же, сударыня, меньше полкроны никак нельзя.

– Полкроны в такие-то времена! Ну, послушайте, для воскресного бульона его преподобия. У нас ни одной лишней курицы не осталось, он всех уже скушал. А ведь вы получаете в уплату еще и проповедь, миссис Фитчет, не забывайте этого. Возьмите за них парочку турманов – редкие красавцы. Приходите поглядеть. У вас ведь турманов нет.

– Пожалуй что, Фитчет сходит, как кончит работу. Очень он любит новые породы. Ну и чтоб вам угодить.

– Мне угодить? Да такой выгодной мены у него еще не было! Пара церковных голубей за двух подлых испанских куриц, которые расклеывают собственные яйца! Только вы с Фитчетом поменьше хвастайте тем, сколько выгадали!

Фаэтон покатиł по аллее к дому, а миссис Фитчет смотрела ему вслед, смеялась и, покачивая головой, бормотала:

– Как бы не так, как бы не так!

Из чего можно заключить, что жизнь в их округе казалась бы ей куда скучнее, если бы супруга приходского священника была не так бойка на язык и не так прижимиста. Пожалуй, фермерам и батракам в приходах Фрешит и Типтон не всегда нашлось бы о чем поговорить, если бы у каждого не было в запасе рассказа о том, что на днях сказала или что вытворила миссис Кэдуолледер – дама чрезвычайно высокородная, которая вела свое происхождение от неведомых графов, смутных, как тени героев, громогласно заявляла о своей бедности, всегда умела заплатить цену ниже и сыпала шутками самым дружеским образом, но так, чтобы вы помнили, кто она такая. Благодаря ей знатность и религия словно бы сходили со своих пьедесталов и смягчалась даже горечь неотсроченной десятины. Более чинная особа, исполненная кисловатого высокомерия, не помогла бы им лучше понять Тридцать Девять Статей и куда меньше способствовала бы поддержанию добрососедского духа.

Мистер Брук, взиравший на достоинства миссис Кэдуолледер под несколько иным углом, слегка поежился, когда в дверях библиотеки, где он пребывал в одиночестве, появился лакей и доложил о ее приезде.

– Так, значит, вас почтил визитом наш лоуикский Цицерон! – сказала она, усаживаясь поудобнее и сбрасывая шаль, которая скрадывала худобу ее стройной фигуры. – Наверное, вы с ним затеваете какой-нибудь скверный политический комплот, иначе к чему бы вам так часто видеться с этим весельчаком! Я на вас донесу: не забывайте, что вы оба находитесь под подозрением, с тех пор как приняли сторону Пиля в этой истории с биллем о католиках. Я всем разблаговешу, что вы выставите свою кандидатуру в парламент от Мидлмарча как виг, когда старик Пинкертон удалится на покой, и что Кейсобон намерен помогать вам исподтишка – будет подкупать избирателей трактатами, раздавая их в кабаках. Ну, признайтесь же!

– Да ничего подобного, – возразил с улыбкой мистер Брук, протирая очки и против воли слегка краснея. – Мы с Кейсобоном почти не говорим о политике. Филантропическое ее применение ему не слишком интересно – уголовные наказания, ну и так далее. Его заботят только дела церкви. А я их не касаюсь, знаете ли.

– Ну как же, как же, друг мой! Я достаточно наслышана о ваших проделках. Кто, например, продал свою землю в Мидлмарче папистам? Мне совершенно ясно, что вы ее для того и покупали. Вы настоящий Гай Фокс. Вот увидите, гореть вам пятого ноября в виде чучела. Гемфри не пожелал приехать, чтобы ссориться с вами из-за этого. Так что пришлось ехать мне.

– Очень хорошо. Я был готов к гонениям за то, что не хочу подвергать гонениям других... не подвергать гонениям других, знаете ли.

– Вот-вот! Вы эту фразу приготовили для предвыборных речей. Послушайте, мой милый мистер Брук, не позволяйте им заманить вас на трибуну. В таких случаях человек обязательно попадает в дурацкое положение. Разве что вы на стороне правого дела – вот тогда все ваши меканья и беканья святы. А так вы себя погубите, предупреждаю вас. Устройте паштет из мнений всех партий, ну и камни на вас посыплются со всех сторон.

– Но я этого и жду, знаете ли, – сказал мистер Брук, чтобы не показать, как мало удовольствия доставило ему подобное пророчество. – Я этого и жду, как независимый. А что до вигов, то человека, который принадлежит к мыслителям, ни одной партии подцепить не удастся. Он может пойти с ними одной дорогой до определенного предела – до определенного предела, знаете ли. Но этого вы, дамы, не понимаете.

– Но где он – этот ваш определенный предел? Я была бы рада услышать, о каком определенном пределе может идти речь, если человек не принадлежит ни к одной партии, ведет бродячую жизнь и не сообщает друзьям своего адреса. «Никому не известно, где находится Брук, на Брука рассчитывать нельзя», – вот что говорят о вас люди, если хотите знать. Ну, станьте же респектабельным. Неужто вам будет приятно ходить на парламентские заседания, если все станут на вас коситься, а у вас и совесть нечиста, и в карманах пусто?

– Не в моем обыкновении спорить с дамами о политике, – сказал мистер Брук, снисходительно улыбаясь и с тревогой сознавая, что кое-какие необдуманные шаги действительно сделали его весьма уязвимым, чем миссис Кэдуолледер не замедлила воспользоваться. – Ваш пол, знаете ли, не склонен мыслить философски – *variam et mutabile semper*⁴ и так далее. Вы ведь незнакомы с Вергилием. А я, бывало... – Тут мистер Брук вовремя вспомнил, что не имел чести лично знать римского поэта. – С беднягой Стоддартом, хотел я сказать. Это его слова. Дамы всегда восстают против независимых взглядов – человека интересует одна лишь истина, ну и так далее. А такой узости, как здесь, нигде больше в нашем графстве не найти – я не намерен кидать камень, знаете ли, но кому-то следовало занять независимую позицию, а если не я займу ее, так кто же?

⁴ Всегда непостоянен и изменчив (*лат.*).

– Кто? Да любой безродный выскочка без положения в обществе! А солидные люди пусть упиваются независимым вздором у себя дома, вместо того чтобы провозглашать его на всех перекрестках. И уж вы-то, вы-то! Выдаете племянницу, можно сказать дочь, за одного из наших лучших людей, и на тебе! Сэра Джеймса это очень заденет. Каково ему будет, если вы выкинете штуку и пойдете в глашатаи к вигам?

Мистер Брук снова поежился, на этот раз мысленно, – едва помолвка Доротеи была решена, как он сразу же представил себе язвительные выпады миссис Кэдуолледер. Посторонний наблюдатель мог бы, конечно, сказать: «Ну так поссорьтесь с миссис Кэдуолледер!» – но что ждет сельского помещика, если он начнет ссориться со старинными своими соседями? Кто ощутит тонкий букет фамилии «Брук», если подавать ее небрежно, точно вино в откупоренной бутылке? Бесспорно, человек может быть космополитом лишь до определенного предела.

– Надеюсь, мы с Четтемом всегда будем добрыми друзьями, но, как ни жаль, мужем моей племянницы он стать не может, – сказал мистер Брук и почувствовал немалое облегчение, увидев в окно Селию, которая возвращалась домой.

– Но почему? – удивленно осведомилась миссис Кэдуолледер. – И двух недель не прошло, как мы с вами все это обсудили.

– Моя племянница выбрала другого... выбрала, знаете ли. Я тут ни при чем. Сам я предпочел бы Четтема и должен сказать, что Четтем – такой жених, какого избрала бы всякая девушка. Однако в подобных вещах никакой логики не существует. Ваш пол капризен, знаете ли.

– Но позвольте! За кого же вы ее в таком случае выдаете? – Миссис Кэдуолледер торопливо перебирала в уме возможных избранников Доротеи.

Появление Селии, раздумывавшейся после прогулки по саду, освободило мистера Брука от необходимости отвечать. Пока она здоровалась с гостьей, он поспешил встать и тотчас удалился, объяснив:

– Да, кстати, мне надо отдать кое-какие распоряжения Райту о лошадях.

– Дитя мое, что я такое слышу? О помолвке вашей сестрицы? – сказала миссис Кэдуолледер.

– Она помолвлена с мистером Кейсобоном. – Селия, как обычно, предпочла наиболее прямой и простой ответ, радуясь возможности поговорить с супругой священника с глазу на глаз.

– Но это ужасно! И давно?

– Я узнала о их помолвке только вчера. Свадьба будет через полтора месяца.

– Что же, душенька, могу только поздравить вас с таким зятем.

– Мне так жалко Доротею!

– Жалко? Но ведь, полагаю, она сама все устроила.

– Да. Она говорит, что у мистера Кейсобона великая душа.

– Не спорю, не спорю.

– Ах, миссис Кэдуолледер, по-моему, выходить замуж за человека с великой душой вовсе не так уж хорошо.

– В таком случае, милочка, вам известно, чего вы должны остерегаться. Вам известно, как они выглядят, и, когда следующий явится просить вашей руки, не вздумайте соглашаться.

– Разумеется, нет.

– Еще бы! Одного такого в семье вполне достаточно. Так, значит, вашей сестрице сэра Джеймс Четтем совсем не нравился? Ну а о нем, как о зяте, что бы вы сказали?

– Я была бы очень рада. По-моему, он был бы прекрасным мужем. Но только... – добавила Селия, порозовев (порой она, казалось, розовела так же естественно, как дышала), – только не думаю, чтобы он подошел Доротее.

– Недостаточно возвышен?

– Додо очень взыскательна. Она всегда обо всем размышляет и придает значение всякому слову! Сэру Джеймсу никак не удавалось ей угодить.

– А, так, значит, она подавала ему надежду! Это не делает ей чести.

– Ах, пожалуйста, не сердитесь на Додо! Она многого просто не видит. Все ее мысли были заняты домами для арендаторов, а с сэром Джеймсом она иногда держалась почти невежливо, но он так добр – он ничего не замечал.

– Ну что же, – сказала миссис Кэдуолледер, накидывая на плечи шаль и вставая с некоторой торопливостью. – Придется поехать прямо к сэру Джеймсу и сообщить ему, что произошло. Он уже, наверное, привез свою матушку, и так или иначе я должна побывать у них. Ваш дядя, конечно, не сочтет нужным его известить. Очень грустно, душенька! Вступая в брак, молодые люди обязаны думать о своих семьях. Я подала дурной пример – вышла замуж за неимущего священника и бесповоротно уронила себя в глазах всех де Браси: пускаюсь на хитрости, чтобы не остаться без угля, и молюсь о ниспослании оливкового масла для салата. Впрочем, у Кейсобона, надо отдать ему справедливость, деньги есть. Что же до благородства происхождения, то, полагаю, в фамильном гербе у него три черных краба и вздыбившийся схолласт. Да, пока я здесь, милочка, мне надо поговорить с вашей миссис Картер о пирогах. Я хотела бы прислать к ней мою новую кухарку поучиться. Беднякам вроде нас, с четырьмя детьми на руках, хорошая повариха не по средствам. Я думаю, миссис Картер не откажет мне в такой услуге. А кухарка сэра Джеймса – настоящий жандарм в юбке.

Не прошло и часа, как миссис Кэдуолледер, уговорив миссис Картер, уже подъезжала к воротам Фрешит-Холла, который находился совсем недалеко от ее собственного дома: супруг ее избрал для жительства Фрешит, а Типтон поручил заботам младшего священника.

Сэр Джеймс Четтем действительно вернулся из короткой поездки, которая заняла два дня, и как раз переодевался, чтобы отправиться в Типтон-Грейндж. Миссис Кэдуолледер увидела у крыльца его лошадь, а затем появился и он сам с хлыстом в руке. Леди Четтем еще не возвратилась, но миссис Кэдуолледер, разумеется, не могла ни о чем говорить в присутствии грума и конюха, а потому изъявила желание посмотреть новые растения в оранжерее. Войдя туда, она сказала:

– У меня для вас очень печальная новость. Надеюсь, вы все-таки не так влюблены, как делаете вид.

Негодовать на миссис Кэдуолледер за ее манеру выражаться не имело ни малейшего смысла. И тем не менее сэр Джеймс слегка переменился в лице. Его охватила непонятная тревога.

– Я убеждена, что Брук все-таки намерен выйти в открытую. Я прямо обвинила его в том, что он задумал представлять Мидлмарч в парламенте как либерал, а он скроил глупую мину и даже не стал возражать – лепетал что-то о позиции независимого и прочий вздор.

– И это все? – спросил сэр Джеймс с большим облегчением.

– То есть как? – возразила миссис Кэдуолледер резким тоном. – Неужели вы хотите, чтобы он вступил на политическое поприще таким манером? Как политический клоун?

– Думаю, его можно будет переубедить. Вряд ли ему придется по вкусу такие большие расходы.

– Это я ему и сказала. Тут он доступен гласу разума – на унцию скупости всегда приходится два-три грана здравого смысла. Скупость – отличная семейная добродетель, вполне безопасная основа для безумия. А в роду Бруков что-то да не так, иначе бы мы не увидели того, что видим.

– Как, Брук выставляет свою кандидатуру от Мидлмарча?

– Хуже того. И вот тут у меня немного совесть нечиста. Я ведь всегда говорила вам, что мисс Брук для вас прекрасная партия. Я знала, что в голове у нее немало всякого вздора –

сущий ералаш из методизма и всяких фантазий. Правда, у девушек такие вещи обычно проходят без следа. Но должна признаться, что на сей раз я ошиблась.

– О чем вы говорите, миссис Кэдуолледер? – спросил сэр Джеймс, но его опасения, что мисс Брук бежала, чтобы вступить в общину моравских братьев или еще в какую-нибудь нелепую секту, неизвестную в хорошем обществе, несколько уравновешивались убеждением, что миссис Кэдуолледер всегда все представляет в наиболее черном свете. – Что случилось с мисс Брук? Скажите же.

– Ну хорошо. Она помолвлена.

Миссис Кэдуолледер помолчала, глядя на сэра Джеймса, который криво улыбнулся, пытаясь скрыть, как ранила его эта новость, и щелкнул хлыстом по сапогам. Затем она добавила:

– Помолвлена с Кейсобоном.

Сэр Джеймс уронил хлыст, нагнулся и поднял его. Пожалуй, его лицо еще никогда не выражало такого отвращения, как в тот миг, когда он вновь посмотрел на миссис Кэдуолледер и повторил:

– С Кейсобоном?

– Вот именно. Теперь вы понимаете, почему я заглянула к вам.

– Боже мой! Это мерзко! С такой высохшей мумией! – (Мнение, которое можно извинить молодому, пышущему здоровьем, но побежденному сопернику.)

– Она говорит, что у него великая душа. Великий бычий пузырь, чтобы греметь сухим горохом, – сказала миссис Кэдуолледер.

– Но зачем такому старому холостяку жениться? – спросил сэр Джеймс – Он ведь одной ногой уже стоит в могиле.

– Ну, так выгащит ее обратно.

– Брук не должен этого допускать. Он должен потребовать, чтобы заключение брака было отложено до ее совершеннолетия. А к тому времени она передумает. Для чего же и существуют опекуны?

– Как будто Брук способен на решительный поступок!

– А если бы с ним поговорил Кэдуолледер?

– Вот уж нет! Гемфри всех считает очаровательными людьми. Мне ни разу не удалось добиться от него хоть одного дурного слова о Кейсобоне. Он даже епископа хвалит, хотя я и говорила ему, как противоестественны такие похвалы в устах приходского священника, – но что прикажете делать с мужем, который настолько пренебрегает приличиями? И чтобы никто этого не заметил, мне приходится поносить всех и каждого. Ну, не вешайте носа! Лучше радуйтесь, что судьба избавила вас от мисс Брук – ведь она требовала бы, чтобы вы и днем созерцали звезды. Говоря между нами, крошка Селия стоит двух таких, да и в других отношениях она теперь прекрасная невеста. В конце-то концов, выйти за Кейсобона – это все равно что постричься в монастырь.

– Не в этом дело... я думаю, друзьям мисс Брук следует вмешаться ради нее самой.

– Гемфри еще ничего не известно. Но когда я ему скажу, знаете, что он ответит? «А почему бы и нет? Кейсобон прекрасный человек... и молод... вполне еще молод». Эти добряки не умеют отличить уксус от вина, пока не глотнут его и у них не заболит живот. Однако будь я мужчиной, то уж конечно выбрала бы Селию. И после того, как Доротея уедет... По правде говоря, ухаживали вы за одной, а покорили другую. Я ведь вижу, что она восхищается вами, как только может девушка восхищаться мужчиной. И раз вам это говорю я, то преувеличения тут нет ни малейшего. До свидания!

Сэр Джеймс усадил миссис Кэдуолледер в фаэтон и вскочил на своего коня. Он не собирався отказываться от прогулки из-за неприятного известия, которое привезла ему его доб-

рая знакомая, – только он поскакал быстрее, чем намеревался, и по дороге, не ведущей в Типтон-Грейндж.

Но с какой, собственно, стати миссис Кэдуолледер так хлопотала о браке мисс Брук и почему, едва расстроилась свадьба, которой она, по ее убеждению, немало способствовала, ей тотчас понадобилось заняться устройством новой? Скрывался ли за этим хитроумный план, какие-нибудь тайные интриги, которые можно было бы выследить в подзорную трубу? Отнюдь. Как бы ни шарила подзорная труба по приходам Типтон и Фрешит, осматривая все места, где побывала миссис Кэдуолледер в своем фаэтоне, ей не удалось бы обнаружить ни единого подозрительного визита, ни единого случая, когда взгляд почтенной дамы утратил бы невозмутимость и пронзительность, а лицо – обычный яркий цвет. Короче говоря, существуя этот удобный экипаж в дни Семи Мудрецов, кто-нибудь из них не преминул бы изречь, что, следуя по пятам женщины, разъезжающей в фаэтоне, вы не сможете узнать о ней ничего. Ведь, даже нацелив микроскоп на каплю воды, мы способны делать поверхностные и неверные выводы. Например, слабые линзы покажут вам существо, жадно разевающее рот, и существа поменьше, торопливо и словно бы по своей воле устремляющиеся в этот рот, – эдакие живые монеты, которые сами прыгают в сумку сборщика налогов. Но более сильное стекло обнаружит крохотные волоски, закручивающие водовороты, которые затягивают будущие жертвы, так что пожирателю остается лишь спокойно ждать, когда они попадут в такой водоворот. И если бы, фигурально выражаясь, можно было поместить миссис Кэдуолледер в роли свахи под сильное стекло, тут же обнаружилась бы неприметная игра крохотных причин, которые создавали, так сказать, водовороты мыслей и слов, доставлявшие ей необходимую пищу.

Жизнь миссис Кэдуолледер была по-сельски проста, лишена каких-либо зловещих, опасных или хоть сколько-нибудь важных тайн, и великие события, происходившие в большом мире, никак ее не касались. А потому, когда высокородные родственники упоминали о них в своих письмах, все эти события были ей особенно интересны. Очаровательные младшие сыновья знатных фамилий, губившие себя женитьбой на любовнице, древний родовой идиотизм юного лорда Тапира, бешеные подагрические выходы старого лорда Мегатерия, скандальное скрещение двух генеалогий, принесшее титул новой ветви, – вот сюжеты, которые она запоминала в мельчайших подробностях и затем расцвечивала блесками злого остроумия, получая от этого огромное удовольствие, ибо верила в голубую кровь и ее отсутствие столь же свято, как в разделение животных на благородную дичь и прочих тварей. Она никого не осуждала за бедность: де Браси, вынужденный обедать тарелкой жидкого супа, представился бы ей высоким примером благородной покорности судьбе, достойным всяческих восхвалений, а его аристократические пороки, боюсь, несколько ее не ужаснули бы. Но к вульгарным богачам она питала прямо-таки священную ненависть: ведь они, возможно, нажились на высоких розничных ценах, а миссис Кэдуолледер не терпела высоких розничных цен на все то, что не приносило доходов в дом священника, – сотворяя мир, Господь не отвел в нем места подобным людям, а их плебейский выговор терзал ее слух. Город, где такие чудовища водились в изобилии, представлял собой подобие площадного фарса, недостойного внимания вселенной, жидущейся на голубой крови и изысканных манерах. Пусть дама, склонная осудить миссис Кэдуолледер, исследует терпимость собственных взглядов и убедится, что они отдают должное любой из тех жизней, которые имеют честь сосуществовать с ее собственной.

Так как же миссис Кэдуолледер с ее натурой, активной, словно фосфор, придающей всему вокруг удобную для нее форму, могла не принять живейшего участия в обеих мисс Брук и их замужестве? Тем более что она уже много лет имела обыкновение с самой дружеской откровенностью читать мистеру Бруку нотации и в доверительных беседах третировать его как заведомое ничтожество. Едва барышни поселились в Типтоне, она предназначила Доротею в невесты сэру Джеймсу и, поженись они, считала бы их брак своей заслугой. Теперь же, когда ее уверенность оказалась обманутой, она терзалась досадой, что, конечно, не может не вызвать

сочувствия к ней у всякого, кто умеет мыслить. Она была главным дипломатом Типтона и Фрешиита, и любое событие, случившееся там помимо нее, означало оскорбительный беспорядок. А уж нелепые выходки вроде той, которую позволила себе мисс Брук, она вообще извинять не собиралась: теперь ей стало ясно, что в своем мнении об этой девице она заразилась глупой снисходительностью своего мужа, – все ее методистские штучки, все ее претензии на благочестие более глубокое, чем у приходского священника и младшего священника вместе взятых, были порождены куда более тяжким недугом души, чем она полагала прежде.

– Ну что же, – сказала миссис Кэдуолледер сначала себе, а потом мужу, – я ничего больше для нее делать не буду. Выйди она замуж за сэра Джеймса, еще можно было бы надеяться, что она станет рассудительной и благоразумной женщиной. Он бы ни в чем ей не перечил, а женщине, которой не перечат, нет нужды упорно вытворять нелепость за нелепостью. Теперь же я желаю ей побольше радости от ее власяницы.

Обманувшись в Доротею, миссис Кэдуолледер, разумеется, должна была подыскать сэру Джеймсу новую невесту. Остановив свой выбор на младшей мисс Брук, она сделала на редкость искусный первый ход, когда намекнула баронету, что он завоевал сердце Селии. Сэр Джеймс не принадлежал к воздыхателям, томящимся по недостижимому яблочку Сапфо, которое смеется на самой верхней ветке, по чарам, что

Пленяют, как мак на обрыве,
Куда смельчаку не добратся.

Он не писал сонетов, и ему не могло понравиться, что его избранница избрала другого. Мысль о том, что Доротея предпочла ему мистера Кейсобона, уже ранила его любовь и ослабила ее. Хотя сэр Джеймс был охотником, на женщин он смотрел не так, как на куропаток или лисиц, и не видел в своей будущей жене добычу, ценную главным образом потому, что ее приходится долго преследовать. И он не настолько восхищался обычаями древних племен, чтобы верить, будто для пущей прочности брачных уз жену следует добывать с помощью томагавка. Напротив, благодушное тщеславие, которое крепче привязывает нас к тем, кому мы дороги, и отталкивает от тех, кому мы безразличны, а также мягкость натуры уже пробудили в его сердце благодарную нежность к Селии при одной только мысли, что он пользуется ее расположением.

И вот сэр Джеймс после полчасовой скачки по дороге, ведущей в сторону от Типтона, придержал лошадь, а потом свернул на дорогу, которая вела прямо туда. Совершенно разные чувства укрепили в нем решимость все-таки побывать в Типтон-Грейндже, словно ничего не случилось. Он невольно радовался, что не успел сделать предложение и не получил отказа; простая дружеская вежливость требовала, чтобы он еще раз поговорил с Доротеей о домах для арендаторов, а теперь, предупрежденный миссис Кэдуолледер, он сумеет принести ей свои поздравления без особой неловкости. Конечно, визит этот был для него нелегок и он страдал оттого, что вынужден был отказаться от Доротеи, но упрямое желание не откладывать их встречи и уверенность, что он сумеет не выдать своих чувств, служили своего рода громоотводом и противоядием. И наконец, где-то в глубине его души пряталась безотчетная мысль о том, что он увидит Селию и сможет быть с ней внимательнее, чем прежде.

Мы, смертные мужчины и женщины, глотаем много разочарований между завтраком и ужином, прячем слезы, бледнеем, но в ответ на расспросы говорим: «Так, пустяки!» Нам помогает гордость, и гордость – прекрасное чувство, если оно побуждает нас прятать собственную боль, а не причинять боль другим.

Глава VII

Для любви, как для дынь, есть своя пора.
Итальянская пословица

Как и следовало ожидать, мистер Кейсобон на протяжении этих недель проводил в Типтон-Грейндже много времени, что, конечно, стало некоторой помехой в продвижении его великого труда – «Ключа ко всем мифологиям», а потому он, естественно, с тем большим нетерпением ожидал конца своего счастливого жениховства. Впрочем, помеха эта явилась плодом его доброй воли, поскольку он пришел к выводу, что ему настала пора украсить жизнь прелестью женского общества, расцветить сумрак усталости, неизбежной спутницы ученого усердия, игрой женской фантазии и теперь, в зрелом расцвете лет, позаботиться о том, чтобы согреть годы заката женской нежностью. А потому он решил самозабвенно броситься в поток восхищенных чувств и, быть может с удивлением, обнаружил, сколь мелок этот ручеек. Как известно, в засушливых областях крещение погружением дозволяется совершать лишь символически – вот и мистеру Кейсобону оказалось некуда нырять: благословенной влаги хватало разве только на окропление, и он заключил, что поэты весьма преувеличивают силу мужской страсти. Тем не менее он с удовольствием замечал в мисс Брук пылкую, но покорную привязанность и полагал, что самые приятные его представления о супружеской жизни обмануты не будут. Раза два у него мелькало подозрение, не объясняется ли умеренность его восторгов каким-то недостатком Доротеи, но отыскать в ней этот недостаток он не мог, как не мог и представить себе женщину, которая могла бы более ему понравиться. Следовательно, причиной была склонность поэтов и всех им подобных к преувеличениям.

– Что, если я уже теперь начну готовиться к тому, чтобы быть вам полезной? – как-то утром спросила его Доротея вскоре после их помолвки. – Не могла бы я научиться читать вам вслух по-гречески и по-латыни, как дочери Мильтона, которые читали отцу древних авторов, хотя ничего не понимали?

– Боюсь, это будет для вас утомительно, – ответил мистер Кейсобон с улыбкой. – Ведь, если мне не изменяет память, упомянутые вами девицы считали эти упражнения в неизвестных им языках достаточной причиной, чтобы ополчиться против своего родителя.

– Да, конечно. Но, во-первых, они, наверное, были очень легкомысленны, иначе с гордостью служили бы такому отцу, а во-вторых, кто им мешал потихоньку заниматься этими языками, чтобы научиться понимать, о чем они читают? Тогда это было бы интересно. Надеюсь, вы не находите меня легкомысленной или глупенькой?

– Я нахожу вас такой, какой только может быть очаровательная юная девица во всем, чего от нее можно требовать. Но бесспорно, если бы вы научились копировать греческие буквы, это могло бы оказаться очень полезным, и начать, пожалуй, лучше с чтения.

Доротея не замедлила с радостью воспользоваться столь великодушным разрешением. Попросить мистера Кейсобона учить ее древним языкам она не решилась, больше всего на свете опасаясь, что он увидит в ней не будущую помощницу, но обузу. Однако овладеть латынью и греческим она хотела не только из преданности своему нареченному супругу. Эти области мужского знания представлялись ей возвышенностью, с которой легче увидеть истину. Ведь она, сознавая свое невежество, постоянно сомневалась в своих выводах. Как могла она лелеять убеждение, что однокомнатные лачуги не споспешествуют славе Божьей, если люди, знакомые с классиками, как будто сочетали равнодушие к жилищам бедняков с ревностным служением этой славе? Может быть, для того чтобы добраться до сути вещей, чтобы здраво судить об общественном долге христиан, следует узнать еще и древнееврейский? Ну хотя бы алфавит и несколько корней? Она еще не достигла той степени самоотречения, когда ее удо-

влетворило бы положение жены мудрого мужа, – бедная девочка, она сама хотела быть мудрой. Да, мисс Брук, несмотря на весь свой ум, была очень наивна. Селия, чьи умственные способности никто не считал выдающимися, с гораздо большей проницательностью умела распознавать пустоту претензий многих и многих их знакомых. По-видимому, есть только одно средство не принимать что-то близко к сердцу – вообще поменьше чувствовать.

Как бы то ни было, мистер Кейсобон снизошел до того, чтобы часами слушать и учить, точно школьный наставник или, вернее, точно влюбленный, который умиляется невежеству своей возлюбленной в самых простых вещах. Какой ученый не согласился бы при подобных обстоятельствах обучать даже азбуке! Но Доротею огорчала и обескураживала ее непонятливость – к тому же ответы, которые она услышала, робко задав несколько вопросов о значении греческих ударений, пробудили в ней неприятное подозрение, что, возможно, и правда существуют тайны, недоступные женскому разумению.

Мистер Брук, во всяком случае, твердо придерживался такого мнения и не преминул выразить его с обычной убедительностью, как-то заглянув в библиотеку во время урока чтения.

– Но послушайте, Кейсобон, подобные глубокие предметы – классики, математика, ну и так далее – для женщин слишком трудны... слишком трудны, знаете ли.

– Доротея просто учит буквы, – уклончиво заметил мистер Кейсобон. – Она с большой предупредительностью предложила побереечь мои глаза.

– Ах так! Не понимая смысла... знаете ли, это еще не так плохо. Но женскому уму свойственна легкость... порхание. Музыка, изящные искусства, ну и так далее – вот чем пристало заниматься женщинам, хотя и в определенных пределах, в определенных пределах, знаете ли. Женщина должна быть способна сесть и сыграть вам или спеть какую-нибудь старинную английскую песню. Вот что мне нравится, хотя я слышал почти все... бывал в венской опере: Глюк, Моцарт, ну и так далее. Но в музыке я консерватор – не то что в идеях, знаете ли. Тут я стою за хорошие старинные песни.

– Мистер Кейсобон не любит фортепьяно, и я этому рада, – сказала Доротея. Такое пренебрежение к домашним концертам и женским занятиям живописью ей можно извинить, если вспомнить, что в ту темную эпоху все ограничивалось пустым бренчаньем и мазней. Она улыбнулась и бросила на жениха благодарный взгляд: если бы он то и дело просил ее сыграть «Последнюю розу лета», ей понадобилось бы все ее терпение и кротость. – Он говорит, что в Лоуике есть только старинный клавесин, и тот весь завален книгами.

– А вот тут ты уступаешь Селии, милочка. Селия прекрасно играет, и притом очень охотно. Впрочем, если Кейсобон не любит музыки, то ничего. Однако, Кейсобон, печально, что вы лишаете себя такого безобидного развлечения: тетиву, знаете ли, не следует все время держать натянутой, нет, не следует.

– Не вижу особого развлечения в том, чтобы мои уши терзали размеренным шумом, – ответил мистер Кейсобон. – Мотив, построенный на постоянных повторениях, оказывает нелепое воздействие на мои мысли – они словно начинают танцевать менуэт ему в такт, а это можно терпеть разве что в отрочестве. О более же серьезных и величественных формах музыки, достойной сопровождать великие торжества или даже, согласно представлениям древних, образовывать дух и ум, я ничего не говорю, поскольку сейчас мы ведем речь не о ней.

– Да, конечно. Такая музыка доставила бы мне удовольствие, – сказала Доротея. – Когда мы возвращались на родину из Лозанны, дядя в Фрейбурге сводил нас послушать большой орган, и я плакала.

– Это вредно для здоровья, милочка, – заметил мистер Брук. – Теперь, Кейсобон, заботиться о ней будете вы, и вам следует научить мою племянницу относиться ко всему спокойнее, э, Доротея?

Он заключил свою речь улыбкой, не желая обидеть племянницу, но про себя порадовался, что она так рано выходит за столь положительного человека, как Кейсобон, раз уж о Четтеме она и слышать не хотела.

«Но как это поразительно, – сказал он себе, неторопливо выходя из библиотеки, – право же, поразительно, что он ей понравился. Впрочем, партия отличная. И с моей стороны было бы неуместно чинить препятствия, что бы там ни говорила миссис Кэдуолледер. Кейсобон почти наверное будет епископом. Его трактат о католическом вопросе был весьма и весьма ко времени. Уж настоятелем его обязаны сделать. По меньшей мере».

Здесь я почитаю нужным воспользоваться своим правом на философские отступления и замечу, что мистер Брук в эту минуту совсем не предчувствовал, сколь радикальную речь о епископских доходах ему доведется произнести в не столь уж отдаленном будущем. Какой изящный историограф упустил бы подобный случай указать, что его герои не предвидели не только путей, которыми шла после них история мира, но даже собственных поступков! Так, например, Генрих Наваррский в дни своего протестантского младенчества ничуть не подозревал, что станет католическим монархом, а Альфред Великий, измеряя сгоревшими свечами ночи своих неустанных трудов, не мог бы даже вообразить нынешних досужих господ, которые измеряют свои пустые дни с помощью карманных часов. Эта залежь истины, как бы усердно ее ни разрабатывали, не истощится и тогда, когда в Англии будет добыт последний кусок угля.

Что касается мистера Брука, я добавлю еще кое-что, пожалуй не столь подкрепленное историческими прецедентами: если б он и предвидел свою речь, большой разницы это не составило бы. Можно с удовольствием думать о солидных доходах епископа – мужа твоей племянницы, и можно произнести либеральную речь. Одно другому не мешает, и только узкие умы не способны взглянуть на вопрос с разных точек зрения.

Глава VIII

*На помощь к ней! Я брат ее теперь,
А вы – отец, Девице благородной
Защитник всяк, в ком благородна кровь!*

Сэр Джеймс Четтем несколько удивился тому, с каким удовольствием он продолжает посещать Типтон-Грейндж, едва трудная минута, когда он впервые увидел Доротею уже невестой другого, осталась позади. Разумеется, в тот миг, когда он приблизился к ней, в него словно ударила молния, и до конца их разговора его не покидало ощущение неловкости. Однако нельзя не признать, что при всей его душевной щедрости он чувствовал бы себя куда хуже, будь его соперник действительно блестящей партией. Затмить его мистер Кейсобон не мог, и ему было просто больно, что Доротея попала во власть печального самообмана, а потому обиду смягчало сострадание.

Тем не менее, хотя сэр Джеймс и сказал себе, что полностью отказывается от нее, раз уж она с упрямством Дездемоны отвергла брак, во всех отношениях желательный и согласный с природой, сама эта помолвка продолжала его тревожить. Когда он впервые увидел Доротею рядом с мистером Кейсобоном как его невесту, он понял, что отнесся к случившемуся недостаточно серьезно. Брук очень виноват: он обязан был помешать. Кто бы мог поговорить с ним? Возможно, даже сейчас еще не поздно что-нибудь сделать – хотя бы отложить свадьбу. И на обратном пути сэр Джеймс решил побывать у мистера Кэдуолледера. К счастью, священник оказался дома, и гостя проводили в кабинет, увешанный всяческой рыболовной снастью. Однако самого мистера Кэдуолледера там не было – он возился со спиннингом в чуланчике рядом, куда и пригласил баронета. Их связывали дружеские отношения, не частые между землевладельцами и приходскими священниками их графства, – обстоятельство, объяснение которого можно было найти в свойственном им обоим добродушии.

Мистер Кэдуолледер был крупным человеком с пухлыми губами и приятной улыбкой. Простота и даже грубоватость его внешности сочетались с тем невозмутимым спокойствием и благожелательностью, которые навевают умиротворение, точно зеленые холмы под лучами солнца, и способны подействовать даже на раздраженный эгоизм, принудив его устыдиться себя.

– Как поживаете? – сказал он и повернул запачканную руку, показывая, почему он ее не протягивает для пожатия. – Жаль, что в прошлый раз вы меня не застали. Что-нибудь случилось? У вас встревоженный вид.

Между бровями сэра Джеймса залегла морщинка, которая стала еще глубже, когда он ответил:

– Все из-за Брука. Мне кажется, кому-нибудь следовало бы с ним поговорить.

– Но о чем? О его намерении выставить свою кандидатуру в парламент? – сказал мистер Кэдуолледер, вновь начиная крутить катушку спиннинга. – По-моему, он серьезно об этом не думает. Но если и так, что тут дурного? Противники вигов должны радоваться, что виги не нашли кандидата получше. Таким тараном, как голова нашего приятеля Брука, им никогда не сокрушить конституцию.

– А, я не об этом, – пробормотал сэр Джеймс, который, положив шляпу, бросился в кресло, обхватил колено и принялся угрюмо рассматривать подошву своего сапога. – Я говорю про этот брак. О том, что он отдает юную цветущую девушку за Кейсобона.

– Ну а чем плох Кейсобон? Почему ему и не жениться на ней, если он ей нравится?

– Она так молода, что неспособна разобраться в своих чувствах. Ее опекун обязан вмешаться. Он не должен допускать такой скоропалительности в подобном деле. Не понимаю, Кэдуолледер, как человек вроде вас – отец, имеющий дочерей, – может смотреть на эту помолвку равнодушно. И с вашим-то добрым сердцем! Подумайте, подумайте серьезно!

– Но я не шучу, я совершенно серьезен, – ответил священник с тихим смешком. – Вы совсем как Элинон. Она потребовала, чтобы я отправился к Бруку и наставил его на путь истинный. Мне пришлось напомнить ей, что, по мнению ее друзей, она сама, выйдя замуж за меня, совершила большую ошибку.

– Но вы поглядите на Кейсобона, – негодуя возразил сэр Джеймс. – Ему никак не меньше пятидесяти, и, по-моему, он всегда был замухрышкой. Поглядите на его ноги!

– Ох уж эти мне молодые красавцы! Вы считаете, что все всегда должно быть по-вашему. Вы не понимаете женщин. Они ведь восхищаются вами куда меньше, чем вы сами. Элинон имела обыкновение объяснять своим сестрам, будто дала мне согласие из-за моей безобразности – качества столь редкого и оригинального, что она забыла о благоразумии.

– Так то вы! В вас женщины, конечно, должны были влюбляться. Да и не в красоте дело. Мне Кейсобон не нравится. – К этой фразе сэр Джеймс прибегал, только когда действительно был о ком-нибудь самого дурного мнения.

– Но почему? Что вы о нем знаете плохого? – спросил мистер Кэдуолледер, откладывая спиннинг и засовывая большие пальцы в прорези жилета с видом живейшего внимания.

Сэр Джеймс помолчал. Ему всегда было трудно облекать в слова то, на чем он основывал свои мнения: ему казалось странным, что люди не понимают этих причин без объяснений, настолько вескими и разумными они ему представлялись. Наконец он сказал:

– Как по-вашему, Кэдуолледер, есть у него сердце?

– Есть, конечно. Пусть не любвеобильное, но послушное долгу, в этом вы можете не сомневаться. Он с большой добротой заботится о своих бедных родственниках: нескольким женщинам назначил пенсию и тратит порядочные суммы на образование троюродного племянника. Кейсобон следует тут своим понятиям о справедливости. Сестра его матери очень неудачно вышла замуж – кажется, за поляка. Был какой-то скандал, и близкие от нее отреклись. Не случилось этого, денег у Кейсобона было бы вдвое меньше. Насколько мне известно, он сам разыскал этих своих родственников, чтобы позаботиться о них, если будет нужно. Далеко не всякий человек издаст такой чистый звон, если вы проверите, из какого металла он отлит. Вы бы, Четтем, с честью прошли такую проверку, но сказать это можно далеко не о всех.

– Ну, не знаю, – ответил сэр Джеймс, краснея. – Я в этом не так уж уверен. – После некоторого молчания он прибавил: – Кейсобон поступил правильно. И все-таки человек может вести себя очень порядочно и быть сухим, как пергамент. Он вряд ли способен составить счастье женщины. И по-моему, если девушка так молода, как мисс Брук, ее друзья обязаны вмешаться, чтобы удержать ее от необдуманного решения. Вы смеетесь, потому что думаете, будто я сам тут как-то заинтересован. Но, слово чести, это не так. Я чувствовал бы то же, будь я братом мисс Брук или ее дядей.

– Ну и что бы вы сделали?

– Я бы настоял, чтобы свадьбу отложили до ее совершеннолетия. И можете быть уверены: в этом случае она так никогда и не состоялась бы. Мне бы хотелось, чтобы вы согласились со мной, мне бы хотелось, чтобы вы потолковали с Бруком.

Еще не договорив, сэр Джеймс поднялся на ноги, потому что к ним из кабинета вошла миссис Кэдуолледер. Она вела за руку младшую дочь – пятилетнюю девочку, которая тотчас подбежала к папеньке и вскарабкалась к нему на колени.

– Я слышала, о чем вы говорили, – объявила супруга священника, – но Гемфри вам не переубедить. До тех пор пока рыба исправно клюет, мир населяют только милые люди. На

земле Кейсобона есть ручей, в котором водится форель, а сам он никогда не удит – где вы найдете человека лучше?

– А ведь и правда, – заметил священник с обычным своим тихим смешком. – Быть владельцем такого ручья – прекрасное качество.

– Но серьезно, миссис Кэдуолледер, – сказал сэр Джеймс, чье раздражение еще не угасло, – разве вы не согласны, что вмешательство вашего мужа могло бы принести пользу?

– Ах, я же сразу сказала вам, что он ответит! – произнесла миссис Кэдуолледер, поднимая брови. – Я сделала что могла и умываю руки: меня этот брак не касается.

– Во-первых, – сказал священник, слегка нахмурясь, – нелепо полагать, будто я могу повлиять на Брука и убедить его поступить по-моему. Брук – отличный человек, но ему не хватает твердости. Какую форму он ни примет, сохранить ее ему не удастся.

– Может быть, прежде чем утратить ее, он успеет помешать этому браку, – возразил сэр Джеймс.

– Но, мой дорогой Четтем, почему я должен пускать в ход мое влияние в ущерб Кейсобону, если вовсе не убежден, что принесу таким образом пользу мисс Брук? Я ничего дурного о Кейсобоне не знаю. Мне неинтересны его Ксисутры и всякие фи-фо-фам, но ведь и ему неинтересны мои спиннинги. Конечно, позиция, которую он выбрал в католическом вопросе, была несколько неожиданной, но он был всегда со мной весьма учтив, и я не вижу, почему я должен портить ему жизнь. Вполне возможно, что мисс Брук будет с ним счастливее, чем с любым другим мужем, – откуда мне знать?

– Гемфри! Ну что ты говоришь? Сам же предпочитаешь остаться совсем без обеда, лишь бы не обедать с глазу на глаз с Кейсобоном. Вам друг другу слова сказать не о чем.

– Но где тут связь с тем, что мисс Брук выходит за него? Она же делает это не для моего удовольствия.

– У него в теле нет ни капли настоящей крови, – заявил сэр Джеймс.

– Разумеется. Кто-то рассматривал ее под лупой – и увидел только двоеточия и скобки, – подхватила миссис Кэдуолледер.

– Почему он не издаст свою книгу, вместо того чтобы жениться? – буркнул сэр Джеймс с омерзением, на которое, как он считал, ему давал право здравый смысл человека, далекого от схоластических выкладок.

– А, он бредит примечаниями и ни о чем другом думать не способен. Говорят, в нежном детстве он составил конспект по «Мальчику-с-пальчик» и с тех пор одни только конспекты и составляет. Фу! А Гемфри утверждает, что женщина может быть счастлива с подобным человеком.

– Но мисс Брук он нравится, – возразил ее муж. – О вкусах же юных барышень я судить не берусь.

– А если бы она была вашей дочерью? – сказал сэр Джеймс.

– Это совсем другое дело. Но она мне не дочь, и я не чувствую себя вправе вмешиваться. Кейсобон ничуть не хуже большинства из нас. Он ученый священник и ничем не уронил своего сана. Один радикальствующий оратор в Мидлмарче назвал Кейсобона ученым попом, молодящим мякину, а Фрика – попом-каменщиком, а меня – попом-рыболовом. И честное слово, не вижу, что тут лучше, а что хуже. – Мистер Кэдуолледер испустил свой тихий смешок. Он всегда был готов первым посмеяться любым выпадам по своему адресу. Его совесть была такой же спокойной и невозмутимой, как он сам, и предпочитала избегать лишних усилий.

Таким образом, вмешательство мистера Кэдуолледера браку мисс Брук не угрожало, и сэр Джеймс с грустью подумал, что ей предоставлена полная свобода совершать необдуманные поступки. Тем не менее он не отказался от своего намерения строить дома для арендаторов по плану Доротеи, что свидетельствует о благородстве его натуры. Без сомнения, это был лучший способ сохранить свое достоинство, однако гордость только помогает нам быть велико-

душными, а не делает нас такими – как тщеславие не делает нас остроумными. Доротея, зная теперь, в какое положение она поставила сэра Джеймса, вполне оценила его стремление добросовестно исполнить свой долг по отношению к арендаторам, хотя он возложил на себя этот долг лишь из желания угодить возлюбленной, и радость, которую она испытывала, не могло заслонить даже ее новое счастье. Пожалуй, дома арендаторов сэра Джеймса Четтема занимали ее во всей той мере, в какой она могла интересоваться чем-то помимо мистера Кейсобона, а вернее, помимо той симфонии счастливых грез, доверчивого восхищения и страстной преданности, которая благодаря ему звучала в ее душе. И потому теперь во время каждого своего визита добросердечный баронет, который уже начинал чуть-чуть ухаживать за Селией, вновь и вновь обнаруживал, что разговоры с Доротеей становятся ему все приятнее. Теперь она держалась с ним свободно, никогда не раздражалась, и он мало-помалу открывал для себя прелесть дружеской симпатии между мужчиной и женщиной, которым не надо ни прятать страсть, ни признаваться в ней.

Глава IX

Первый джентльмен

Оракул древний называл страну

«Законожаждущей»; там все стремились

К порядку, к совершенному правлению.

Где ныне нам искать подобный край?

Второй джентльмен

Там, где и прежде, – в сердце человека.

Мистер Брук остался весьма доволен тем, как мистер Кейсобон собирался обеспечить свою жену, все предсвадебные дела разрешались без малейших затруднений, и время помолвки летело незаметно. Невесте полагалось осмотреть свой будущий дом и распорядиться, что и как там следует переделать. Женщина распоряжается перед браком, чтобы ей было приятнее учиться покорности потом. И бесспорно, те ошибки, которые мы, смертные обоего пола, делаем, когда получаем свободу поступать по-своему, заставляют задаваться вопросом, почему нам так нравится эта свобода.

И вот в пасмурное, но сухое ноябрьское утро Доротея вместе с дядей и Селией поехала в Лоуик. Мистер Кейсобон жил в старинном господском доме. Из сада была видна небольшая церковь, а напротив нее – дом приходского священника. В молодости мистер Кейсобон обитал в нем, пока не вступил во владение поместьем после смерти брата. К саду примыкал небольшой парк с великолепными древними дубами, откуда к юго-западному фасаду вела липовая аллея. Ограда, разделявшая сад и парк, была скрыта в низине, и из окон гостиной открывался широкий вид на зеленую лужайку и липы, а дальше зеленели поля и луга, которые в лучах закатного солнца порой словно преображались в золотое озеро. Но на юг и на восток вид был довольно угрюмым даже в самое ясное утро: никакого простора, запущенные клумбы и почти у самых окон разросшиеся купы деревьев – главным образом мрачные тисы. Сам дом, построенный в старинном английском стиле, отнюдь не был безобразен, но позеленевшие от времени каменные стены и маленькие окна навевали меланхолическое чувство, – чтобы такой дом стал уютным, ему требуются веселые детские голоса, множество цветов, распахнутые окна и солнечный простор за ними. Однако на исходе осени, когда в застывшей тишине последние желтые листья медленно кружили под пасмурным небом на темном фоне вечнозеленых тисов, дом был исполнен безысходной осенней грусти, и вышедший встретить их мистер Кейсобон не являл всему этому ни малейшего контраста.

«Ах! – сказала себе Селия. – Уж конечно, Фрешит-Холл выглядит приятнее». Она представила себе белоснежные стены, портик с колоннами, террасу, всю в цветах, а среди них – улыбающийся сэр Джеймс, точно расколдованный принц, только что покинувший обличье розового куста, и с носовым платком, возникшим из самых душистых лепестков, – сэр Джеймс, который всегда так мило разговаривает об обычных интересных вещах, а не рассуждает на ученые темы! Селии в полной мере были свойственны те прелестные женственные вкусы, какие нередко чаруют серьезных пожилых джентльменов в их избраниях. К счастью, склонности мистера Кейсобона были иными – ведь согласия Селии он не получил бы никогда.

Доротее, наоборот, и дом, и сад, и парк чрезвычайно понравились. Темные книжные полки в длинной библиотеке, выцветшие от времени ковры и портьеры, гравированные панорамы городов и старинные карты на стенах коридоров, старинные вазы под ними не только не произвели на нее угнетающего впечатления, но показались ей гораздо приятнее статуй и картин, которые ее дядя навез в Типтон-Грейндж из своих путешествий (возможно, они состав-

ляли часть идей, которых он тогда набрался). Сугубо классические обнаженные тела и ренессансно-корреджевские сладкие улыбки приводили бедняжку Доротею в полную растерянность, настолько они противоречили ее пуританским понятиям и были чужды всему строю ее жизни – ведь никто не научил ее тому, как надо воспринимать искусство. Владельцы же Лоуика, по-видимому, никогда не путешествовали по чужим странам, а мистер Кейсобон, изучая прошлое, обходился без таких пособий.

Осматривая дом, Доротея не испытывала ничего, кроме радости. Здесь, где ей предстояло нести обязанности супруги, все казалось ей священным, и, когда мистер Кейсобон осведомлялся, не кажется ли ей желательным изменить то или это, она отвечала ему взглядом, полным глубочайшего доверия. Его внимание к ее вкусам пробуждало в ней живейшую благодарность, но менять она ничего не хотела. Его формальную учтивость и столь же формальную нежность она находила безупречными, восполняя пустоты уверенностью, что его совершенство открылось ей еще не во всей своей полноте, – так, словно речь шла о Божественном провидении и кое-какие диссонансы могли объясняться лишь ее собственной глухотой к высшей гармонии. А в неделях, предшествующих свадьбе, всегда находятся пустоты, на которые любовь и доверие закрывают глаза, не допуская и тени сомнения в счастливом будущем.

– Теперь, дорогая Доротея, окажите мне любезность указать, какую комнату вы хотели бы сделать своим будуаром, – сказал мистер Кейсобон, показывая, что его взгляды на женскую натуру достаточно широки и он признает за женщинами право иметь будуар.

– Вы очень добры, – ответила Доротея, – но, право, я предпочту оставить это на ваше усмотрение. Мне все нравится так, как оно есть – как вы привыкли, разве что вы сами найдете нужным что-нибудь изменить. Ничего другого мне не надо.

– Ах, Додо! – сказала Селия. – А комната наверху с окном-фонарем?

Мистер Кейсобон проводил их туда. Окно-фонарь выходило на липовую аллею, мебель была обтянута поблекшим голубым шелком, а на стене висели миниатюры дам и джентльменов с пудренными волосами. Гобелен, служивший портьерой, тоже изображал зелено-голубой мир с выплывшим оленем на переднем плане. Стулья и столики на тонких изогнутых ножках казались не слишком устойчивыми. В такой комнате легко было вообразить призрачную даму в платье с тугой шнуровкой, вернувшуюся за своим рукоделием. Меблировку завершал небольшой книжный шкаф с переплетенными в телячью кожу томиками изящной словесности.

– Да-да, – объявил мистер Брук, – это будет очень милая комната, если сменить занавески, обновить мебель, добавить кушеток, ну и так далее. Сейчас она несколько гола.

– Что вы, дядюшка! – поспешно возразила Доротея. – Здесь не надо ничего менять. В мире найдется столько куда более важных вещей, которые необходимо изменить, а тут мне все и так нравится. И вам ведь тоже? – спросила она, повернувшись к мистеру Кейсобону. – Наверное, это была комната вашей матушки в дни ее молодости?

– Да, – ответил он, медленно наклоняя голову.

– Вот ваша матушка, – сказала Доротея, рассматривая миниатюры. – Она совсем такая, как на маленьком портрете, который вы мне подарили, только здесь ее черты, по-моему, более выразительны. А это чья миниатюра?

– Ее старшей сестры. Как и вы с сестрицей, они были единственными детьми своих родителей, чьи портреты висят выше.

– А сестра очень хорошенькая, – заметила Селия, подразумевая, что о матушке мистера Кейсобона этого сказать нельзя. Ей было как-то удивительно, что он происходит из семьи, члены которой все в свое время были молоды, а дамы так даже носили ожерелья.

– Какое своеобразное лицо, – сказала Доротея, вглядываясь в миниатюру. – Глаза глубокие и серые, но посажены слишком близко, нос изящный, но неправильный и словно бы с горбинкой, а напудренные локоны зачесаны назад! Да, это очень своеобразное лицо, но, по-

моему, хорошеньким назвать его нельзя. И между ней и вашей матушкой нет никакого семейного сходства.

– Да. И судьбы их тоже были не похожи.

– Вы мне про нее не рассказывали, – заметила Доротея.

– Моя тетка вышла замуж крайне неудачно. Я ее никогда не видел.

Доротея была заинтригована, но сочла неделикатным задавать вопросы, раз мистер Кейсобон сам больше ничего не сказал, и отвернулась к окну полюбоваться видом. Солнце пронизало серую пелену туч, и липы отбрасывали тени поперек аллеи.

– Не пройтись ли нам по саду? – спросила Доротея.

– И тебе следует посмотреть церковь, знаешь ли, – сказал мистер Брук. – Забавная церквушка. Как и все селение. Оно словно заключено в ореховой скорлупе. Кстати, оно тебе понравится, Доротея: аккуратные домики с садами, мальвы, ну и так далее.

– Да, если можно, я хотела бы все это посмотреть, – сказала Доротея, повернувшись к мистеру Кейсобону, – на ее вопросы о жилищах лоуикских арендаторов он до сих пор ограничивался коротким заверением, что они не так уж плохи.

Вскоре все общество уже шло по песчаной дорожке, которая вилась в траве между купами деревьев и, как объяснил мистер Кейсобон, вела прямо к церкви. Но калитка в церковной ограде оказалась заперта, и мистер Кейсобон направился к дому священника за ключом. Заметив, что он удалился, Селия, которая немного отстала, подошла к остальным и сказала с обычной четкостью, которая всегда словно бы опровергала подозрение в скрытой злокозненности ее слов:

– А знаешь, Доротея, я видела в одной из аллей какого-то молодого человека.

– И что же тут удивительного, Селия?

– Садовник, знаешь ли. Почему бы ему и не быть молодым? – сказал мистер Брук. – Я уже советовал Кейсобону переменить садовника.

– Нет, это был не садовник, а джентльмен с альбомом для набросков, – возразила Селия. – У него выющиеся каштановые волосы. Я видела только его спину, но он совсем еще молодой.

– Возможно, сын младшего священника, – ответил мистер Брук. – А, вон и Кейсобон с Такером. Он хочет представить тебе Такера. Ты ведь с Такером не знакома.

Мистер Такер, несмотря на пожилой возраст, все еще принадлежал к «низшему духовенству», а как известно, младшие священники обычно не могут пожаловаться на отсутствие сыновей. Однако, после того как он был им представлен, ни он сам, ни мистер Кейсобон ни слова про его семью не сказали, и мелькнувший в аллее юноша был забыт всеми, кроме Селии. Она же пришла к выводу, что каштановые кудри и стройная фигура не могут принадлежать отпрыску или даже просто родственнику мистера Такера, такого старого и скучного, каким, по мнению Селии, только и мог быть духовный помощник мистера Кейсобона – без сомнения, превосходный человек, который попадет в рай (Селия чуждалась вольнодумства), но уж очень у него кривой рот. И Селия с огорчением и без всякого вольнодумства решила про себя, что у младшего священника, конечно, нет милых детишек, с которыми она могла бы играть, когда ей придется гостить в Лоуике в качестве подружки невесты.

Мистер Такер, как, возможно, и предвидел мистер Кейсобон, оказался бесценным спутником: он отвечал на все вопросы Доротеи о жителях деревни и о других прихожанах. В Лоуике, заверял он ее, все живут припеваючи: каждый арендатор (дома рассчитаны на две семьи, зато и плата невысока) обязательно держит хотя бы одну свинью, а огороды на задах все отлично ухожены. Мальчики одеты в превосходный плис, из девочек выходят примерные служанки, или же они остаются дома и занимаются плетением из соломы. Никаких ткацких станков, никакого сектантского духа, и хотя здешние люди думают не столько о духовном, сколько о том, чтобы скопить побольше денег, никаких особых пороков за ними не водится.

Пестрых же кур было столько, что мистер Брук не удержался и заметил:

– Как вижу, ваши фермеры оставляют для женщин ячмень на полях. У здешних бедняков, наверное, варится в горшках та самая курица, о какой добрый французский король мечтал для всех своих подданных. Французы едят много кур, но тощих, знаете ли.

– Удивительно жалкая мечта, – негодуяше сказала Доротея. – Неужели короли – такие чудовища, что даже подобное пожелание уже возводится в добродетель?

– Если бы он желал, чтобы они ели тощих кур, – заметила Селия, – это было бы не так хорошо. Но может быть, он желал, чтобы они ели жирных кур.

– Да, но слово это выпало из контекста или же существовало лишь *subauditum*, то есть в мыслях короля, но вслух произнесено не было, – с улыбкой сказал мистер Кейсобон, наклоняясь к Селии, которая тотчас замедлила шаг, не желая смотреть, как мистер Кейсобон моргает у самого ее лица.

Когда они возвращались из деревни, Доротея все время молчала. Она со стыдом ловила себя на некотором разочаровании при мысли, что в Лоуике все хорошо и ей нечего будет там делать. И несколько минут она размышляла о том, что, пожалуй, предпочла бы жить в приходе, не столь свободном от горестей и бед, – тогда ей нашлось бы чем заняться. Но тут же она вновь вернулась к будущему, ожидающему ее на самом деле: она еще больше посвятит себя трудам мистера Кейсобона, и эта преданность подскажет ей новые обязанности. Почерпнутые в общении с ним высокие знания, наверное, откроют перед ней другие способы приложения своих сил.

Тут мистер Такер откланялся; его ждали какие-то церковные дела, и он вынужден был отказаться от приглашения позавтракать с ними.

Когда они вошли в сад через маленькую калитку, мистер Кейсобон сказал:

– У вас немного грустный вид, Доротея. Надеюсь, вы довольны тем, что видели?

– То, что я чувствую, наверное, глупо и дурно, – ответила Доротея с обычной своей откровенностью. – Я хотела бы, чтобы эти люди больше нуждались в помощи. Мне известно так мало способов сделать мою жизнь полезной. И конечно, мои представления о пользе далеко не достаточны. Мне следует искать новые пути, как приносить пользу людям.

– Несомненно, – сказал мистер Кейсобон. – С каждым положением сопряжены соответствующие обязанности. И надеюсь, ваше новое положение как хозяйки Лоуика будет содействовать исполнению моих чаяний.

– Я всем сердцем хочу этого, – ответила Доротея с глубокой серьезностью. – Мне вовсе не грустно, не надо так думать.

– Очень хорошо. Но если вы не устали, то мы пойдем к дому другой дорогой.

Доротея ничуть не устала, и они направились к великолепному тису, главной родовой достопримечательности с этой стороны дома. Подойдя ближе, они заметили на темном фоне вечнозеленых ветвей скамью, на которой сидел какой-то человек, рисуя старое дерево. Мистер Брук, шедший с Селией впереди, оглянулся и спросил:

– Кто этот юноша, Кейсобон?

Они уже почти поравнялись со скамьей, когда мистер Кейсобон наконец ответил:

– Один мой молодой родственник, довольно дальний. Собственно говоря, – добавил он, глядя на Доротею, – это внук той дамы, на чей портрет вы обратили внимание, моей тетки Джулии.

При их приближении молодой человек положил альбом и встал. Пышные светло-каштановые кудри и юный вид не оставляли сомнения, что именно его увидела в аллее Селия.

– Доротея, позвольте представить вам моего родственника, мистера Ладислава. Уилл, это мисс Брук.

Они остановились совсем рядом с ним, и, когда он снял шляпу, Доротея увидела серые, близко посаженные глаза, изящный неправильный нос с легкой горбинкой, зачесанные назад волосы... но рот и подбородок были более твердыми и упрямыми, чем на миниатюре его

бабушки. Юный Ладислав не считал нужным улыбнуться в знак того, что очень рад познакомиться со своей будущей двоюродной тетушкой и ее родней, его лицо казалось скорее хмурым и недовольным.

– Я вижу, вы художник, – объявил мистер Брук, взяв в руки альбом и перелистывая его с обычной своей бесцеремонностью.

– Нет. Я просто делаю иногда кое-какие наброски, – ответил юный Ладислав, краснея, но, возможно, от досады, а не от скромности.

– Ну-ну! Вот же очень милая штучка. Я и сам немножко занимался этим в свое время, знаете ли. Поглядите-ка! Очень-очень мило и сделано, как мы говаривали, с *brío*⁵. – И мистер Брук показал племянницам большой акварельный набросок пруда в каменистых, поросших деревьями берегах.

– Я ничего в этом не понимаю, – сказала Доротея не холодно, но просто объясняя, почему она не может высказать своего суждения. – Вы ведь знаете, дядя, я не вижу никакой красоты в картинах, которые, по вашим словам, столь знамениты. Их язык мне непонятен. Вероятно, между картинами и природой есть какая-то связь, которую я по своему невежеству не ощущаю, – так греческие слова вам говорят о многом, а для меня не имеют смысла. – И Доротея поглядела на мистера Кейсобона, который наклонил к ней голову, а мистер Брук воскликнул с небрежной улыбкой:

– Подумать только, как люди не похожи друг на друга! Однако тебя плохо учили, знаешь ли, ведь это как раз для молодых девиц – акварели, изящные искусства, ну и так далее. Но ты предпочитаешь чертить планы, ты не понимаешь *morbidezza*⁶ и прочего в том же духе. Надеюсь, вы побываете у меня, и я покажу вам плоды моих собственных усилий на этом поприще, – продолжал он, повернувшись к юному Ладиславу, который не сразу понял, что слова эти были обращены к нему, так пристально он рассматривал Доротею. Ладислав заочно считал ее очень неприятной девушкой, раз уж она согласилась выйти за Кейсобона, а признавшись, что живопись ей непонятна, она только укрепила бы его в этом мнении, даже если бы он ей поверил. Но он принял ее признание за скрытую критику и не сомневался, что она нашла его набросок никуда не годным. Слишком уж умно она извинилась – посмеялась и над своим дядей, и над ним! Но какой у нее голос! Точно голос души, некогда обитавшей в эоловой арфе. Как непосредательна природа! Девушка, готовая стать женой Кейсобона, должна быть совершенно бесчувственной. Отвернувшись от нее, он поклоном поблагодарил мистера Брука за приглашение.

– Мы вместе полистаем мои итальянские гравюры, – продолжал этот добродушный знаток живописи. – У меня много подобных вещей накопилось за все эти годы. В нашей глуши обрастаешь мхом, знаете ли. Нет-нет, не вы, Кейсобон, вы продолжаете свои ученые занятия, но вот мои лучшие идеи понемногу увядают... не находят себе применения. Вам, молодежи, надо беречься лени. Я был слишком ленив, знаете ли, а ведь я мог бы оказаться где угодно.

– Своевременное предупреждение, – заметил мистер Кейсобон, – но пройдемте в дом, пока барышни не устали стоять.

Когда они отошли, юный Ладислав вновь опустился на скамью и продолжал рисовать тис, но на его губах заиграла улыбка, она становилась все шире, и наконец он откинул голову и расхохотался. Отчасти его позабавило впечатление, которое произвел его набросок, отчасти – его сумрачный родственник в роли влюбленного, а отчасти – определение места, которого мистер Брук мог бы достичь, если бы ему не помешала лень. Улыбка и смех делали лицо мистера Уилла Ладислава очень симпатичным – в них была только искренняя веселость без тени злой насмешки или самодовольства.

⁵ Блеском (*ит.*).

⁶ Здесь: изображение обнаженной натуры (*ит.*).

– Кейсобон, а чем намерен заняться ваш племянник? – спросил мистер Брук, когда они направились к дому.

– Мой родственник, хотели вы сказать, – не племянник.

– Да-да, родственник. Какую карьеру он избрал, знаете ли?

– К большому сожалению, ответить на этот вопрос затруднительно. Он учился в Регби, но не пожелал поступить в английский университет, куда я с радостью его поместил бы, и, как ни странно, предпочел пройти курс в Гейдельберге. А теперь он хочет снова уехать за границу без какой-либо определенной цели – ради, как он выражается, культуры, что должно послужить подготовкой он сам не знает к чему. Выбрать себе профессию он не желает.

– Полагаю, у него нет никаких средств, кроме того, что он получает от вас?

– Я всегда давал ему и его близким основания считать, что в пределах благоразумия обеспечу суммы, необходимые, чтобы он мог получить хорошее образование и начать деятельность на избранном им поприще, а потому не имею права обмануть надежды, которые пробудил, – сказал мистер Кейсобон, сводя свое поведение к одному лишь исполнению долга, и Доротее восхитилась его деликатностью.

– Его влекут путешествия; быть может, он станет новым Брюсом или Мунго Парком, – заметил мистер Брук. – Одно время я и сам об этом подумывал.

– Нет, его несколько не прельщают исследования, расширение наших познаний о земле. Это была бы цель, которую я мог бы одобрить, хотя и не поздравил бы его с выбором карьеры, столь часто завершающейся преждевременной и насильственной смертью. Но он вовсе не хочет получить более верные сведения о поверхности Земли и говорил даже, что предпочтет не знать, где находятся истоки Нила, и что следует оставить некоторые области неисследованными как заповедник для поэтического воображения.

– А в этом что-то есть, знаете ли, – заметил мистер Брук, чей ум, бесспорно, отличался беспристрастностью.

– Боюсь, это лишь признак общей его распушенности и неумения доводить что-либо до конца – свойств, не сулящих ему ничего хорошего ни на гражданском, ни на духовном поприще, даже если бы он подчинился обычным правилам и выбрал себе профессию.

– Быть может, препятствием служит его совесть, сознание собственной непригодности, – сказала Доротея, которой хотелось найти благожелательное объяснение. – Юриспруденция и медицина – очень серьезные профессии, связанные с большой ответственностью, не так ли? Ведь от врача зависит здоровье человека, а от юриста – его судьба.

– Да, конечно. Однако, боюсь, мой юный родственник Уилл Ладислав отвергает эти призвания главным образом из-за нелюбви к упорным и добросовестным занятиям, к приобретению знаний, которые служат необходимой основой для дальнейшего, но не прельщают неусидчивые натуры, ищущие сиюминутных удовольствий. Я растолковывал ему то, что Аристотель изложил со столь восхитительной краткостью: труд, составляющий цель, должен быть ценой множества усилий предварен приобретением подсобных знаний и умения, достичь же этого можно только терпением. Я указывал на собственные мои рукописи, которые вобрали в себя изыскания многих лет и служат лишь преддверием к труду, далеко еще не завершеному. Но тщетно. В ответ на доводы такого рода он называет себя «Пегасом», а всякую работу, требующую прилежания, – «уздой».

Селия засмеялась. Ее удивило, что мистер Кейсобон способен говорить смешные вещи.

– Но из него, знаете ли, может выйти новый Байрон, или Чаттертон, или Черчилль, или кто-нибудь в этом же роде, – сказал мистер Брук. – А вы отправите его в Италию, или куда там он хочет уехать?

– Да. Я согласился выдавать ему скромное пособие в течение примерно года – большего он не просит. Пусть испытает себя на оселке свободы.

– Вы так добры! – сказала Доротея, глядя на мистера Кейсобона с восхищением. – Это очень благородно! Ведь, наверное, есть люди, которые не сразу находят свое призвание, не правда ли? Они кажутся ленивыми и слабыми, потому что еще растут. Мы ведь должны быть очень терпеливы друг с другом, не правда ли?

– Я полагаю, терпение тебе вдруг начало нравиться потому, что ты помолвлена, – сказала Селия, едва они с Доротеей остались одни в передней, снимая накидки.

– Ты намекаешь, что я очень нетерпелива, Селия?

– Да – если люди не делают и не говорят того, чего хочется тебе.

Со времени помолвки Доротеи Селия все меньше боялась говорить ей неприятные вещи: умные люди вызывали теперь у нее еще более презрительную жалость, чем прежде.

Глава X

Не избежать простуды тому, кто кутается в шкуру убитого медведя.

Томас Фуллер

Уилл Ладислав не нанес визита мистеру Бруку – шесть дней спустя мистер Кейсобон упомянул, что его молодой родственник отправился за границу. Холодная неопределенность, с какой это было сказано, не допускала дальнейших расспросов. Впрочем, Уилл сам заявил только, что едет в Европу, и не пожелал уточнить свой маршрут. Гений, считал он, по самой сути своей не терпит никаких оков: с одной стороны, ему нужна полнейшая свобода для самопроизвольных проявлений, а с другой – он обязан обрести состояние высочайшей восприимчивости, дабы вселенская весть, которая наконец-то призовет его к предназначенным ему свершениям, не пропала втуне. Существует немало различных состояний высочайшей восприимчивости, и Уилл добросовестно испробовал многие из них. Ему не особенно нравилось вино, и все же он несколько раз напился, просто чтобы испробовать эту форму экстаза; однажды он не ел весь день, пока не ослабел от голода, а затем поужинал омаром; он пичкал себя опиумом, пока не расхворался. Но все эти усилия не дали хоть сколько-нибудь ощутимых результатов, а после опытов с опиумом он пришел к выводу, что организм де Куинси был, по-видимому, совершенно не похож на его собственный. Условия, долженствующие пробудить гений, еще не обнаружились, вселенная еще не призвала его. Но ведь и Цезарь одно время довольствовался лишь величественными предчувствиями. Нам известно, какой маскарад являет собой грядущее и какие блистательные фигуры скрываются в пока еще беспомощных зародышах. Собственно говоря, мир полон обнадеживающих аналогий и красивых, но сомнительных яиц, носящих название «возможностей». Уилл достаточно ясно видел грустный пример затянувшегося высиживания, когда цыпленок так и не появился на свет, и только благодарность мешала ему смеяться над Кейсобоном, чьи упорные старания, кипы и кипы предварительных заметок и тоненькая свечка ученой теории, долженствующая озарить все древние руины мира, словно бы слагались в басенную мораль, которая подтверждала, что Уилл совершенно прав, бесстрашно поручая свою судьбу попечению вселенной. Он считал это бесстрашием знака гения, и, во всяком случае, оно не свидетельствовало об обратном, ибо гений заключается не в самодовольстве и не в смирении, а в способности вместо общих неопределенных рассуждений творить или совершать нечто вполне конкретное. А потому пусть Уилл Ладислав отправляется за границу без наших напутственных пророчеств о его будущем. Из всех разновидностей ошибок пророчество – самая бессмысленная.

Однако сейчас это предостережение против излишне поспешных суждений интересует меня более в отношении мистера Кейсобона, а не его молодого родственника. Если для Доротеи мистер Кейсобон явился лишь поводом, благодаря которому вспыхнул легковоспламеняемый материал ее юных иллюзий, означает ли это, что более трезвые люди, высказывавшие до сих пор свое мнение о нем, были свободны от предубеждения? Я протестую против того, чтобы какие-либо окончательные выводы или нелестные заключения делались на основании презрения миссис Кэдуолледер к величию души, которое приписывалось священнику соседнего прихода, или пренебрежительного мнения сэра Джеймса Четтема о ногах его счастливого соперника, или из неудачных попыток мистера Брука найти в нем родственные идеи, или из критических замечаний Селии о внешности пожилого кабинетного затворника. Мне кажется, даже величайший человек своего века – если эта превосходная степень вообще могла быть когда-либо к кому-либо отнесена, – даже величайший человек своего века обязательно отражался бы в многочисленных мелких зеркальцах далеко не лестным образом. Сам Мильтон,

пожелай он увидеть себя в столовой ложке, должен был бы смириться с тем, что лицевой угол у него такой же, как у деревенского увальня. Кроме того, хотя из уст мистера Кейсобона льется лишь холодная риторика, это еще не означает, что он лишен тонкости чувства и способностей. Ведь писал же бессмертный естествоиспытатель и истолкователь иероглифов сквернейшие стишки. И разве теория строения Солнечной системы была создана с помощью изящных манер и умения поддерживать светский разговор? Так, быть может, мы оставим внешние оценки человека и задумаемся над тем, что собственное сознание говорит ему о его делах и способностях, преодолевая какие препятствия трудится он изо дня в день, какое разрушение надежд или укрепление самообмана несут ему годы и какие душевные силы противопоставляет он вселенскому бремени, которое когда-нибудь станет для него слишком тяжелым и заставит его сердце остановиться навсегда. Ему самому его жребий, без сомнения, представляется крайне важным, а если нам кажется, что он требует от нас слишком много внимания, то причина заключается просто в нашем нежелании вообще о нем думать: недаром мы с такой неколебимой уверенностью препоручаем его Божественному милосердию – более того, истинное величие духа мы видим в том, чтобы наш ближний уповал получить все там, как бы мало мы ни уделяли ему здесь. Вот и мистер Кейсобон служил центром своего собственного мирка, и если он был склонен полагать, что остальные люди созданы Провидением ради него, и, главное, судил о них только с той точки зрения, полезны они или нет автору «Ключа ко всем мифологиям», то эта черта свойственна всем нам и, подобно другим обманчивым иллюзиям, которые лелеют смертные, заслуживает нашего сострадания.

Вне всяких сомнений, женитьба на мисс Брук касалась его гораздо ближе, чем всех тех, кто успел выразить свое неодобрение по этому поводу, а потому при настоящем положении дел его победа вызывает у меня больше сочувственной жалости, чем разочарование симпатичного сэра Джеймса. Ведь по мере приближения дня, намеченного для свадьбы, мистер Кейсобон отнюдь не воспарял духом, и сад супружества, который, судя по всем предзнаменованиям, утопал в цветах, не начинал манить его сильнее привычных подземелий, где он расхаживал с огарком в руке. Он не признавался себе и, уж конечно, ни словом не обмолвился бы никому другому, что, покорив прелестную и возвышенную девушку, к собственному удивлению, не обрел счастья, хотя всегда был убежден, будто для этого требуются лишь усердные поиски. Правда, он знал все места у древних авторов, подразумевающие как раз обратное, но накопление таких знаний – это своего рода форма движения, почти не оставляющая сил на то, чтобы применять их в собственной практике.

Бедный мистер Кейсобон воображал, будто долгие холостые годы усердных занятий накопили ему сложные проценты для наслаждения жизнью и капитала его нежных чувств хватит на оплату самых больших чеков, ибо все мы – и серьезные люди, и легкомысленные – затуманиваем свой рассудок метафорами, а затем, исходя из этих метафор, совершаем роковые ошибки. И теперь самое убеждение, что он – редкий счастливчик, едва ли не удручало его: он не мог найти никаких внешних причин, объяснявших онемение всех чувств, которое поражало его именно тогда, когда им должна была бы владеть столь чаянная радость – когда он покидал привычное однообразие лоуикской библиотеки и отправлялся в Типтон-Грейндж. Это было томительное испытание, обрекавшее его на такое же безысходное одиночество, как и отчаяние, порой подкрадывавшееся к нему, в то время как он брел по трясине своих изысканий, ни на йоту не приближаясь к цели. И одиночество это было тем страшным одиночеством, которое бежит сочувствия. Он не желал, чтобы Доротея подумала, будто он не так счастлив, как должен быть счастлив в глазах света ее избранник, а в ее юной доверчивости и почитании он обретал опору для себя: ему нравилось пробуждать в ней все новый интерес, потому что этот интерес служил ему ободрением, – разговаривая с ней, он излагал свои замыслы и планы с безмятежной уверенностью наставника и хотя бы ненадолго избавлялся от тех незримых холодных цените-

лей, которые, точно призрачные тени Тартара, окружали его в долгие часы тяжелого невдохновенного труда.

Ибо Доротея, образование которой почти исчерпывалось кукольной историей мира в переложении для молодых девиц, обнаруживала в рассказах мистера Кейсобона о его великой книге столько нового и важного для себя, что эти откровения, это удивительное знакомство со стоиками и александрийцами, чьи идеи в чем-то походили на ее собственные, на время заставили ее забыть о постоянных поисках той всеохватывающей теории, которая должна была прочно соединить ее жизнь и ее доктрину с этим необыкновенным прошлым и установить связь между самыми дальними источниками знания и ее собственными поступками. Ведь впереди ее ждут еще более полные наставления, мистер Кейсобон объяснит ей все это – она ждала приобщения к высочайшим понятиям, как ждала брака, и ее смутные представления о том и о другом сливались воедино. Было бы большой ошибкой полагать, что ученость мистера Кейсобона манила Доротею сама по себе, – хотя общее мнение в окрестностях Фрешита и Типтона объявило ее «умной», однако в тех кругах, на более точном языке которых ум означает всего лишь способность узнавать и действовать, лежащую вне характера, к ней этот эпитет не применили бы. Она искала знаний, повинувшись той же живой потребности в деятельности, которая определяла все ее идеи и порывы. Она не хотела украшать себя знаниями, хранить их отдельно от нервов и крови, питавших ее поступки. И если бы она написала книгу, то, как святая Тереза, вложила бы в нее лишь то, что ей продиктовала бы ее экзальтированная совесть. Но она жаждала чего-то, что исполнило бы ее жизнь действием, одновременно и рациональным и вдохновенным. А так как время пророческих видений и незримых наставников прошло, так как молитва только усугубляла жажду, но не открывала пути, какой еще остается ей светильник, кроме знания? Масло же для него хранят ученые мудрецы, а кто учение мистера Кейсобона?

Вот почему на протяжении этих кратких недель Доротея неизменно пребывала в состоянии радостного, благодарного ожидания, и хотя ее жених порой ощущал себя в тупике, он не мог приписать это охлаждению ее восторженного интереса.

Погода держалась мягкая, и это подсказало мысль сделать целью свадебного путешествия Рим: мистер Кейсобон очень хотел туда поехать, чтобы поработать с кое-какими рукописями в Ватикане.

– Я по-прежнему сожалею, что ваша сестрица не едет с нами, – сказал он однажды утром, когда уже было совершенно ясно, что Селия ехать не хочет и что Доротея предпочтет обойтись без ее общества. – Вам придется много часов проводить в одиночестве, Доротея, так как я буду вынужден использовать время нашего пребывания в Риме с наибольшей полнотой, и я чувствовал бы себя более свободным, если бы с вами кто-то был.

Слова «я чувствовал бы себя более свободным» больно задели Доротею. Впервые, говоря с мистером Кейсобоном, она покраснела от досады.

– Вы составили ошибочное мнение обо мне, – сказала она, – если вы думаете, будто я не понимаю, насколько ценно ваше время, если вы думаете, будто я не откажусь с величайшей охотой от всего, что как-то может помешать вам использовать его наилучшим образом.

– Это очень любезно с вашей стороны, дорогая Доротея, – сказал мистер Кейсобон, даже не заметив, что она обижена. – Но если бы с вами была приятная вам спутница, я мог бы поручить вас обеих заботам чичероне, и мы таким образом за один промежуток времени осуществили бы две цели.

– Прошу вас больше не упоминать об этом, – произнесла Доротея с некоторой надменностью, но тут же испугалась, что была не права, повернулась к нему и, взяв его руку, добавила другим тоном: – Не тревожьтесь из-за меня. У меня найдется много пищи для размышлений, когда я буду оставаться одна. А сопровождать меня может и Тэнтрип. О том же, чтобы поехать с Селией, я и подумать не могу: она изведется от тоски.

Пора было переодеваться. К обеду ожидались гости (это был последний званый обед в Типтон-Грейндже из положенных перед свадьбой), и, услышав удар колокола, Доротея обрадовалась предложению тотчас уйти, словно ей требовалось больше времени на туалет, чем обычно. Ей было стыдно за свое раздражение, но причину его она не могла объяснить даже себе. Хотя она не собиралась кривить душой, ее ответ не имел ничего общего с той болью, которую причинили ей слова мистера Кейсобона. Они были вполне разумны, но в них смутно чудилась странная отчужденность.

«Наверное, это просто какая-то эгоистическая слабость, – сказала она себе. – Выходя замуж за человека, который настолько выше меня, я не могу не знать, что нужна ему меньше, чем он мне».

Убедив себя в полной правоте мистера Кейсобона, Доротея успокоилась, и, когда она вошла в гостиную в серебристо-сером платье, весь ее облик дышал тихим достоинством – скромно причесанные темно-каштановые волосы, разделенные на лбу и уложенные в тугий узел на затылке, удивительно гармонировали с простотой и безыскусственностью ее манер и выражения. В обществе Доротея обычно держалась с неизъяснимой безмятежностью, словно святая Варвара на картине, глядящая со своей башни в светлые просторы неба. Но это спокойствие только подчеркивало пылкость ее слов и чувств, когда что-то ее волновало.

В этот вечер она, естественно, не раз становилась темой разговора, тем более что приглашенных было много, не все мужчины принадлежали к кругу избранных (со времени приезда своих племянниц такого большого званого обеда мистер Брук еще не давал) и общей беседы за столом не велось, а гости переговаривались между собой. Среди них был и новоизбранный мэр Мидлмарча, местный фабрикант, и его зять, банкир-благотворитель, пользовавшийся в городе таким весом, что одни называли его методистом, другие же елейным святошей – в зависимости от привычного лексикона, – а также нотариус, врачи и прочие видные обитатели города. Миссис Кэдуолледер сказала даже, что Брук начинает обхаживать мидлмарчских обывателей и что сама она предпочитает фермеров, которые попросту пьют за ее здоровье на десятинном обеде и не стыдятся дедовской мебели. Собственно говоря, в этих краях, до того как реформа сыграла свою роль в развитии политического сознания, понятия о сословных различиях были очень сильны, а представления о партийной принадлежности довольно смутны, так что пестрота гостей за столом мистера Брука казалась всего лишь следствием той безалаберности, которую он приобрел за время своих неумеренных путешествий и укрепил излишним пристрастием к идеям.

И стоило мисс Брук вместе с дамами покинуть столовую, как кое-кто позволил себе реплики «в сторону».

– А мисс Брук хороша! Очень хороша, черт побери! – заявил мистер Стэндиш, старый нотариус, который столько лет вел дела аристократических землевладельцев, что сам обзавелся поместьем и украшал свою речь этим аристократическим проклятьем, точно гербом, свидетельствующим о благородстве говорящего.

Слова его, по-видимому, были обращены к мистеру Булстроуду, банкиру, но этот джентльмен не любил грубости и чертыхания, а потому только слегка наклонил голову. Зато на них откликнулся мистер Чичли, пожилой холостяк и завсегдатай скачек, чей цвет лица напоминал пасхальное яйцо, редкие волосы были тщательно прилизаны, а внушительная осанка указывала на немалое самодовольство.

– Да, но не в моем вкусе. Я люблю, когда женщина думает о том, чтобы нам нравиться. В женщине должно быть тонкое изящество, кокетство. Мужчине нравится, когда ему бросают вызов. И чем больше она в вас целится, тем лучше.

– Пожалуй, пожалуй, – согласился мистер Стэндиш, который пребывал в отличном расположении духа. – И черт побери, обычно они такими и бывают. Полагаю, тут есть какая-то мудрая цель: такими их создало Провидение, э, Булстроуд?

– На мой взгляд, для кокетства следует искать иной источник, – сказал мистер Булстрод. – Скорее уж, оно исходит от дьявола.

– Бесспорно, в каждой женщине должен сидеть дьяволенок, – объявил мистер Чичли, чье благочестие понесло некоторый ущерб из-за его интереса к прекрасному полу. – И я люблю, когда они белокуры, с эдакой походкой и лебединой шеей. Говоря между нами, дочка мэра нравится мне куда больше мисс Брук, да и мисс Селии тоже. Будь я из тех, кто женится, я бы присватался к мисс Винси, а не к этим барышням.

– Ну, так решайтесь же, решайтесь, – шутливо посоветовал мистер Стэндиш. – Как видите, людям в годах победа обеспечена.

Мистер Чичли только многозначительно покачал головой – он не собирался навлекать на себя неизбежное согласие своей избранницы.

Мисс Винси, имевшая честь быть идеалом мистера Чичли, на обеде, разумеется, не присутствовала: мистер Брук, никогда не любивший заходить слишком далеко, не считал, что его племянницам прилично знакомиться с дочерью мидлмарчского фабриканта – ну, разве на какой-нибудь публичной церемонии. А потому среди приглашенных дам не было ни одной особы, которая могла бы вызвать неодобрение леди Четтем или миссис Кэдуолледер, ибо миссис Ренфру, вдова полковника, не только отвечала всем необходимым требованиям, но и вызывала живейший интерес из-за своего недуга, – он ставил врачей в тупик и его исцеление, несомненно, требовало, кроме полноты профессиональных знаний, еще и малой толики шарлатанства. Леди Четтем, приписывавшая свое собственное редкостное здоровье домашним настойкам на травах и регулярным визитам врача, с большим вниманием выслушала рассказ миссис Ренфру о ее симптомах и о поразительном бессилии всех укрепляющих средств.

– Но, дорогая моя, куда же деваются их укрепляющие свойства? – задумчиво спросила добродушная, но величественная вдова баронета у миссис Кэдуолледер, когда миссис Ренфру отошла от них.

– Укрепляют болезнь, – ответила супруга священника, чье аристократическое происхождение обязывало ее иметь познания в медицине. – Все зависит от конституции: у некоторых людей все идет в жир, у других в кровь, у третьих в желчь, – так, по крайней мере, считаю я, – и, что бы они ни принимали, все, так сказать, перемальвается.

– Но тогда ей следует принимать лекарства, которые будут ослаблять... ослаблять болезнь... если все обстоит так, как вы говорите. А мне кажется, это очень убедительно.

– Ну конечно! Ведь в одной и той же земле растут два сорта картофеля. Один становится все водянистее и водянистее...

– Ах, совсем как бедная миссис Ренфру... Я так и подумала: водянка! Опухлости еще не заметно, пока все внутри. Мне кажется, ей следует принимать подсушивающие лекарства, как по-вашему? Или воздушные ванны, чтобы воздух был сухим и горячим. Есть много средств, которые сушат.

– Пусть испробует трактаты некоего автора, – вполголоса сказала миссис Кэдуолледер, увидев его в дверях. – Вот он в подсушивании не нуждается.

– Кто, моя дорогая? – осведомилась леди Четтем, приятнейшая женщина, но не настолько сообразительная, чтобы лишить собеседницу удовольствия объяснить свои слова.

– Жених... Кейсобон. После помолвки он что-то начал сохнуть еще быстрее: пламя страсти, я полагаю.

– Мне кажется, конституция у него далеко не крепкая, – заметила леди Четтем совсем уже шепотом. – И его занятия... очень сушат, как вы сказали.

– Право, рядом с сэром Джеймсом он выглядит как череп, специально ободранный для такого случая. Помяните мое слово, через год эта девчонка будет его ненавидеть. Сейчас она смотрит на него как на оракула, но пройдет немного времени, и она ударится в другую крайность. Одна взбалмошность!

– Какой ужас! Боюсь, она упряма до неразумия. Но скажите... вы ведь все о нем знаете... Что-нибудь очень скверное? Так что же?

– Что? Он скверен, как лекарство, принятое по ошибке: мерзкий вкус и только вред для здоровья.

– Хуже этого ничего быть не может, – сказала леди Четтем, с такой отчетливостью представив себе мерзкое лекарство, что ей показалось, будто она узнала какие-то подлинные пороки мистера Кейсобона. – Впрочем, Джеймс не позволяет сказать о мисс Брук ни одного дурного слова. Он по-прежнему утверждает, что она – зеркало всех женщин.

– Всего лишь великодушное заблуждение. Поверьте, крошка Селия нравится ему гораздо больше, а она умеет ценить его достоинства. Надеюсь, вам моя крошка Селия тоже нравится?

– О конечно! Она больше любит герани и производит впечатление более кроткой, хотя и не так красиво сложена. Да, кстати о лекарствах: расскажите мне про этого нового молодого врача, мистера Лидгейта. Говорят, он удивительно умен. По крайней мере, лицо у него очень умное – такой прекрасный лоб.

– Во всяком случае, он джентльмен. Я слышала, как он разговаривал с Гемфри. Говорит он хорошо.

– Да-да. По словам мистера Брука, он в родстве с нортумберлендскими Лидгейтами – такая старинная семья. Как-то странно, когда речь идет о докторе. Мне больше нравится, когда врач стоит ближе к прислуге, и обычно такие врачи лечат гораздо лучше. Поверьте, бедный Хикс никогда не ошибался. Мне не известно ни одного такого случая. Он был груб и смахивал на мясника, но он знал мою конституцию. Его внезапная кончина очень меня огорчила. А мисс Брук что-то очень оживленно разговаривает с этим мистером Лидгейтом!

– О домах для арендаторов и о больницах, – ответила миссис Кэдуолледер, обладавшая редкостным слухом и умением схватывать на лету. – Он, кажется, филантроп, так что Брук захочет сойтись с ним покороче.

– Джеймс, – сказала леди Четтем, увидев сына, – представь мне мистера Лидгейта, я хочу посмотреть, каков он.

Любезная дама тут же объявила, что она в восторге познакомиться с мистером Лидгейтом, – она слышала, как успешно он лечит горячки новым способом.

Мистер Лидгейт в полной мере обладал необходимой для врача способностью сохранять серьезный вид, когда ему говорили всякий вздор, а спокойный взгляд темных глаз свидетельствовал, что он слушает со всем вниманием. Он во всем отличался от блаженной памяти Хикса – особенно легкой изящной небрежностью одежды и речи. Тем не менее леди Четтем прониклась к нему полным доверием. Он согласился с тем, что конституция у нее совершенно особая: во всяком случае, он сказал, что конституция любого человека обладает своими особенностями, и не отрицал, что у нее она может быть совершенно особой. Он не одобрил слишком уж ослабляющую систему с избытком кровопусканий, однако не рекомендовал и частых приемов портвейна и хинной коры. Он произносил «я полагаю» с таким почтительным видом, подразумевающим согласие, что она составила самое благоприятное мнение о его талантах.

– Я очень довольна вашим протее, – сказала она мистеру Бруку, прощаясь с ним.

– Моим протее? Помилуйте! Да кто же это? – осведомился мистер Брук.

– Молодой Лидгейт, новый доктор. Мне кажется, он весьма искушен в своей профессии.

– Ах, Лидгейт. Но он вовсе не мой протее, знаете ли. Просто я знаком с его дядей, и тот написал мне о нем. Впрочем, думаю, лечить он должен превосходно – учился в Париже, знал Бруссе. И у него есть идеи: хочет, знаете ли, поднять престиж медицинской профессии.

– У Лидгейта множество совсем новых идей о проветривании, диете, ну и так далее, – продолжал мистер Брук, когда, проводив леди Четтем, он вернулся к своим гостям из Мидлмарча.

– Черт побери, а вы думаете, это такая уж здравая мысль? Ломать старую систему лечения, которая сделала англичан тем, чем они стали? – сказал мистер Стэндиш.

– Медицинские знания у нас оставляют желать много лучшего, – возразил мистер Булстрода, который говорил слабым голосом и имел нездоровый вид. – Я со своей стороны радуюсь, что мистер Лидгейт избрал для своей практики наш город, и надеюсь, у меня будут все основания поручить его заботам новую больницу.

– Все это прекрасно, – ответил мистер Стэндиш, который не слишком любил мистера Булстрода. – Если вы хотите, чтобы он пробовал новые способы лечения на тех, кто попадет в вашу больницу, и убил пару-другую неимущих пациентов, я возражать не стану. Но платить собственные деньги за то, чтобы на мне что-то пробовали, – нет уж, увольте! Я люблю, чтобы меня лечили проверенными способами.

– А знаете ли, Стэндиш, каждое лекарство, которое вы принимаете, – это уже проба... да, проба, знаете ли, – сказал мистер Брук, кивая нотариусу.

– Ну, если в таком смысле! – воскликнул мистер Стэндиш с тем раздражением, какое только мог допустить в разговоре с ценным клиентом. Но когда человек без юридического опыта пускается толковать слова, никакого терпения не хватит!

– Я буду рад любому лечению, которое меня исцелит, не превратив в скелет, как беднягу Грейнджера, – сказал мэр мистер Винси, дородный человек, чей цветущий вид представлял резкий контраст францисканским тонам мистера Булстрода. – Очень опасно остаться без брони, хранящей нас от стрел болезни, как выразился кто-то, и, по-моему, весьма удачно.

Мистер Лидгейт, разумеется, ничего этого не слышал. Он уехал рано и считал бы, что провел очень скучный вечер, если бы не некоторые интересные знакомства – особенно знакомство с мисс Брук, чья юная красота, близкая свадьба с пожилым педантом и увлечение общественно полезными делами были необычным и пикантным сочетанием.

«Доброе создание эта прекрасная девушка... но слишком уж восторженна, – размышлял он. – Разговаривать с такими женщинами всегда трудно. Они вечно доискиваются до сути вопроса, но настолько невежественны, что неспособны понять ее и обычно полагаются на собственное нравственное чувство, чтобы уладить все по своему вкусу».

Другими словами, мисс Брук столь же мало отвечала требованиям мистера Лидгейта, как и требованиям мистера Чичли. Если взглянуть на нее глазами этого последнего – человека зрелого и неспособного изменить давно сложившуюся точку зрения, – то она вообще была ошибкой, призванной подорвать его веру в мудрость Провидения, создающего молоденьких красавиц для того, чтобы они кокетничали с багроволицыми холостяками. Однако Лидгейт еще не достиг такой зрелости, и, возможно, ему предстояли испытания, способные изменить его мнение о том, что следует особенно ценить в женщинах.

Однако ни тому ни другому больше не пришлось встречаться с мисс Брук, пока она еще носила свою девичью фамилию: вскоре после этого обеда она стала миссис Кейсобон и отправилась с мужем в Рим.

Глава XI

*Простую речь, обычные дела
Комедия орудьем избрала,
Портрет рисуя верный наших дней:
Глупцы, а не злодеи милы ей.*

Бен Джонсон

По правде говоря, Лидгейт уже попал во власть чар девушки, совершенно не похожей на мисс Брук. Впрочем, он не считал, что потерял голову настолько, чтобы влюбиться, хотя и сказал о ней так: «Она сама грация, она прелестна и богато одарена. Вот какой должна быть женщина – она должна вызывать то же чувство, что и чудесная музыка». К некрасивым женщинам он относился, как и к прочим суровым фактам жизни, которые надо философски терпеть и изучать. Но Розамонда Винси была полна поистине музыкального очарования, а когда мужчина встречается женщину, которую он избрал бы в невесты, если бы собирался жениться, то остаться ли ему холостяком или нет, обычно решает она. Лидгейт считал, что в ближайшие годы ему не следует жениться – во всяком случае, до тех пор, пока он не проложит для себя собственную дорогу в стороне от широкого истоптанного пути. Мисс Винси сияла на его горизонте примерно все то время, какое потребовалось мистеру Кейсобону, чтобы обручиться и сыграть свадьбу, но этот ученый джентльмен был богат, он собрал обширный предварительный материал и создал себе ту репутацию, которая предшествует свершению и нередко остается главной частью славы такого человека. Как мы видели, он взял себе жену, чтобы она украсила последнюю четверть его плавания и была маленькой луной, не способной вызвать скольнибудь заметные изменения его орбиты. Лидгейт же был молод, беден и честолюбив. Полвека жизни лежало перед ним, а не позади него, и он приехал в Мидлмарч, лелея много планов, исполнение которых не только не должно было сразу принести ему состояние, но даже вряд ли могло обеспечить приличный доход. Если человек в подобных обстоятельствах берет жену, то не для того, чтобы она служила украшением его жизни, в чем Лидгейт был склонен видеть главное назначение жен. Вот это-то после единственного их разговора он и счел изъясном в мисс Брук, несмотря на ее бесспорную красоту. Ее взгляд на мир был лишен истинной женственности. Общество подобной женщины сулило столько же отдыха, как класс шумных мальчишек, которых ты отправляешься учить после трудового дня, вместо того чтобы пребывать в раю, где нежный смех заменяет пение птиц, а синие глаза – безоблачную лазурь небес.

Разумеется, в эту минуту склад ума мисс Брук не имел для Лидгейта ни малейшего значения, как для самой мисс Брук – качества, которые нравились молодому врачу в женщинах. Но тот, кто внимательно следит за незаметным сближением человеческих жребиев, тот увидит, как медленно готовится воздействие одной жизни на другую, и равнодушные или ледяные взгляды, которые мы устремляем на наших ближних, если они не имели чести быть нам представленными, нередко оборачиваются ироничной шуткой – Судьба, саркастически усмехаясь, стоит возле, держа список *dramatis personae*⁷, включающий и их и наши имена.

В старинном провинциальном обществе тоже происходили свои постоянные внутренние перемещения. И это были не только драматические крушения, когда его блистательные молодые денди, отсверкав, кончали семейным очагом, у которого их ждали неопрятные обрюзгшие жены с полудюжиной ребятишек, но и менее заметные взлеты и падения, постоянно изменяющие границы светских знакомств и порождающие новое осознание взаимозависимости. Одни

⁷ Действующие лица (*лат.*).

спускались чуть ниже, другие взбирались на ступеньку повыше, люди с простонародным выговором богатели, высокомерные джентльмены выставляли свои кандидатуры от промышленных городов; кого-то подхватывали политические течения, а кого-то – церковные, и вдруг, к собственному удивлению, они оказывались рядом; немногие же знатные особы или семьи, которые стояли среди этих смещений, точно несокрушимые скалы, тем не менее вопреки своей неизблемости мало-помалу получали какие-то новые черты, претерпевая двойное изменение – и в собственных глазах, и в глазах тех, кто на них смотрел. Муниципальный город и сельский приход постепенно соединялись новыми нитями – постепенно, по мере того как старый чулок заменялся счетом в сберегательном банке, поклонение золотому солнцу гиней сходило на нет, а помещики, баронеты и даже лорды, которые в своей недоступной дали вели безупречную жизнь, при более близком знакомстве обретали всевозможные недостатки и пороки. Появлялись и новые люди из других графств – одни были опасны тем или иным особым умением, другие брали обидным превосходством в хитрости. Собственно говоря, в Старой Англии происходили те же перемещения и смешивание, которые мы находим у куда более старого Геродота, каковой, повествуя о былом, также счел уместным начать свой рассказ с судьбы женщины. Впрочем, Ио – девица, по-видимому соблазнившаяся красивыми товарами, – была полной противоположностью мисс Брук и в этом отношении скорее походила на Розамонду Винси, которая одевалась с изысканным вкусом, тем более что фигура как у нимфы и белокурая красота дают широчайший простор в выборе покроя и цвета; но все это составляло лишь часть ее чар. Она была признанным украшением пансиона миссис Лемон, лучшего пансиона в графстве, где благородных девиц обучали всему, что необходимо знать светской барышне, – вплоть до отдельно оплачиваемых уроков, как входить в карету и как выходить из нее. Миссис Лемон постоянно ставила мисс Винси в пример остальным ученицам – ее успехи в науках, чистота и правильность ее речи были выше всех похвал, особенно же отличалась она в музыке. Мы неповинны в том, как о нас говорят люди, и, возможно, если бы миссис Лемон взялась описать Джульетту или Имогену, эти шекспировские героини утратили бы всякую поэтичность. Первого же взгляда на Розамонду оказалось бы достаточно, чтобы рассеять предубеждение, вызванное дифирамбами миссис Лемон.

И этот первый взгляд и даже знакомство с семейством Винси ожидали Лидгейта вскоре после его водворения в Мидлмарче – мистер Пикок, чью практику он приобрел за некоторую сумму, правда, не был их семейным доктором (миссис Винси не нравилась принятая им ослабляющая система), но зато пользовал многих их родственников и знакомых. Да и кто из видных обитателей Мидлмарча не был связан с Винси родством или хотя бы давним знакомством? Это была старинная семья фабрикантов, они держали открытый дом на протяжении трех поколений и, конечно, за этот срок успели породниться со многими другими более или менее почтенными мидлмарчскими семьями. Сестра мистера Винси приняла предложение богатого жениха – мистера Булстрода; но так как он не был уроженцем города и происхождение его окутывал некоторый туман, считалось, что он возвысился, войдя через брак в исконную мидлмарчскую семью. С другой стороны, мистер Винси женился несколько ниже себя, выбрав дочь содержателя гостиницы. Но и тут не обошлось без целительной силы денег – сестра миссис Винси стала второй женой богатого и старого мистера Фезерстоуна и через несколько лет скончалась бездетной, так что ее племянники и племянницы могли рассчитывать на родственную привязанность вдовца. И получилось так, что мистер Булстрод и мистер Фезерстоун, лучшие пациенты Пикока, по разным причинам с распростертыми объятиями встретили его преемника, приезд которого в город вызвал не только толки, но и разделение на партии. Мистер Ренч, домашний врач мистера Винси, вскоре получил некоторые основания усомниться в профессиональном такте Лидгейта, а многочисленные визитеры постоянно рассказывали о нем что-нибудь новенькое. Мистер Винси предпочитал общий мир и не любил держать чью-либо сторону, однако у него не было надобности спешить с новыми знакомствами. Розамонда про себя желала, чтобы

ее отец пригласил мистера Лидгейта в гости. Ей надоели лица и фигуры, которые она помнила с тех пор, как помнила себя, – всевозможные неправильные профили, и походки, и привычные словечки тех мидлмарчских молодых людей, которых она знала маленькими мальчиками. В пансионе она училась с девочками из семей, занимавших более высокое положение, и не сомневалась, что их братья были бы ей интереснее всех этих вечных мидлмарчских знакомцев. Но она не хотела говорить о своем желании отцу, сам же он не торопился. Олдермен, которого вот-вот изберут мэром, должен давать большие званые обеды, но пока гостей за его обильным столом было вполне достаточно.

Этот стол часто хранил остатки семейного завтрака долго после того, как мистер Винси уходил со вторым сыном на склад, а мисс Морган уже давала утренний урок младшим девочкам в классной комнате. Завтрак дождался семейного лентяя, который предпочитал любые неудобства (для других) необходимости вставать, когда его будили. Так было и в то сентябрьское утро, в которое мистер Кейсобон, как нам известно, отправился с визитом в Типтон-Грейндж и познакомился с Доротеей. Однако, хотя камин в столовой пылал так жарко, что спаниель, пыхтя, улегся в самом дальнем от него углу, Розамонда по какой-то причине засиделась за вышиванием дольше обычного. Иногда она заставляла себя встрепенуться и, разложив рукоделие на коленях, рассматривала его нерешительным скучающим взглядом. Ее маменька, вернувшись после посещения кухни, села по другую сторону рабочего столика и безмятежно чинила кружева, пока часы не захрипели, показывая, что они снова собираются бить. Тогда ее пухлые пальцы взяли колокольчик.

– Притчард, постучите к мистеру Фреду еще раз и скажите, что уже пробило половину одиннадцатого.

При этом лицо миссис Винси, на которое сорок пять прожитых ею лет не нанесли ни углов, ни параллелей, продолжало сиять благодушием. Поправив розовые завязки чепца, она залюбовалась дочерью и оставила работу лежать на коленях.

– Мама, – сказала Розамонда, – когда Фред сойдет завтракать, не давайте ему селедки. Я не терплю, когда в доме с утра стоит этот запах.

– Душечка, ты совсем уж братьям житья не даешь. Больше мне тебя и упрекнуть не в чем. Ты у нас и добрая и ласковая, но только всегда братьев пилишь.

– Не пилю, мама. Вы ведь не слышали, чтобы я хоть раз сказала что-нибудь вульгарное.

– Но ты их все время утесняешь.

– А если у них такие неприятные привычки!

– Нужно быть снисходительней к молодым людям, душечка. Сердце у них хорошее, надо и этому радоваться. Женщине лучше не обращать внимания на мелочи. Ведь тебе замуж выходить.

– За кого бы я ни вышла, на Фреда он похож не будет.

– Напрасно ты так смотришь на своего брата, душечка. Против других молодых людей он сущий ангел, хоть и не сумел сдать экзамен. Право, не понимаю почему, он же такой умный. И ты сама знаешь, что в университете все его знакомые были из самых лучших семей. При твоей взыскательности, душечка, тебе бы радоваться, что твой брат – настоящий молодой джентльмен. Ты же постоянно выговариваешь Бобу, потому что он не Фред.

– Ах нет, мама! Просто потому, что он Боб!

– Что же, душечка, в Мидлмарче не найдется ни одного молодого человека без недостатков.

– Но... – Тут на лице Розамонды появилась улыбка, а с ней – две ямочки. Сама Розамонда эти ямочки терпеть не могла и в обществе почти не улыбалась. – Но я ни за кого из Мидлмарча замуж не пойду.

– Да уж знаю, деточка, ты ведь отвадила самых отборных из них. Ну а если найдется кто-нибудь лучше, так кто же его достоин, как не ты.

– Простите, мама, но мне не хотелось бы, чтобы вы говорили: «самые отборные из них».
– Так ведь они же самые отборные и есть!
– Это вульгарное выражение, мама.
– Может быть, может быть, душечка. Я ведь никогда не умела правильно выражаться. А как надо сказать?

– Самые лучшие из них.
– Да ведь это тоже простое и обычное слово! Будь у меня время подумать, я бы сказала: «Молодые люди, превосходные во всех отношениях». Ну да ты со своим образованием лучше знаешь.

– И что же такое Роза знает лучше, маменька? – спросил мистер Фред, который неслышно скользнул в полуотворенную дверь, когда мать и дочь снова склонились над своим рукоделием, и, встав спиной к камину, принялся греть подошвы домашних туфель.

– Можно или нет сказать: «молодые люди, превосходные во всех отношениях», – ответила миссис Винси, беря колокольчик.

– А, теперь появилось множество сортов чая и сахара, превосходных во всех отношениях. «Превосходный» прочно вошло в жаргон лавочников.

– Значит, ты начал осуждать жаргон? – мягко спросила Розамонда.
– Только дурного тона. Любой выбор слов – уже жаргон. Он указывает на принадлежность к тому или иному классу.

– Но есть правильный литературный язык. Это не жаргон.
– Извини меня, правильный литературный язык – это жаргон ученых педантов, которые пишут исторические труды и эссе. А самый крепкий жаргон – это жаргон поэтов.

– Ты говоришь невозможные вещи, Фред. Тебе лишь бы настоять на своем.
– Ну скажи, это жаргон или поэзия, если назвать быка «тугожилным»?
– Разумеется, можешь назвать это поэзией, если хочешь.
– Попались, мисс Роза! Вы не способны отличить Гомера от жаргона. Я придумал новую игру: напишу на листочках жаргонные выражения и поэтические, а ты разложи их по принадлежности.

– До чего же приятно слушать, как разговаривает молодежь! – сказала миссис Винси с добродушным восхищением.

– А ничего другого у вас для меня не найдется, Притчард? – спросил Фред, когда на стол были поставлены кофе и тартинки, и, обзрев ветчину, вареную говядину и другие остатки холодных закусок, безмолвно отверг их с таким видом, словно лишь благовоспитанность удержала его от гримасы отвращения.

– Может быть, скушаете яичницу, сэр?
– Нет, никакой яичницы! Принесите мне жареные ребрышки.
– Право же, Фред, – сказала Розамонда, когда служанка вышла, – если ты хочешь есть за завтраком горячее, то мог бы вставать пораньше. Ты бываешь готов к шести часам, когда собираешься на охоту, и я не понимаю, почему тебе так трудно подняться с постели в другие дни.

– Что делать, если ты такая непонятливая, Роза! Я могу встать рано, когда еду на охоту, потому что мне этого хочется.

– А что бы ты сказал про меня, если бы я спускалась к завтраку через два часа после всех остальных и требовала жареные ребрышки?

– Я бы сказал, что ты на редкость развязная барышня, – ответил Фред, невозмутимо принимаясь за тартинку.

– Не вижу, почему братья могут вести себя противно, а сестер за это осуждают.
– Я вовсе не веду себя противно. Это ты так думаешь. Слово «противно» определяет твои чувства, а не мое поведение.

– Мне кажется, оно вполне определяет запах жареных ребрышек.

– Отнюдь! Оно определяет ощущения в твоём носике, которые ты связываешь с жеманными понятиями, преподанными тебе в пансионе миссис Лемон. Посмотри на маму. Она никогда не ворчит и не требует, чтобы все делали только то, что нравится ей самой. Вот какой должна быть, на мой взгляд, приятная женщина.

– Милые мои, не надо ссориться, – сказала миссис Винси с материнской снисходительностью. – Лучше, Фред, расскажи нам про нового доктора. Он понравился твоему дяде?

– Как будто очень. Он задавал Лидгейту один вопрос за другим, а на ответы только морщился, словно ему наступали на ногу. Такая у него манера. Ну вот и мои ребрышки.

– Но почему ты вернулся так поздно, милый? Ты ведь говорил, что только побываешь у дяди.

– А, я обедал у Плимдейла. Мы играли в вист. Лидгейт тоже там был.

– Ну и что ты о нём думаешь? Наверное, настоящий джентльмен. Говорят, он из очень хорошей семьи – его родственники у себя в графстве принадлежат к самому высшему обществу.

– Да, – сказал Фред. – В университете был один Лидгейт: так и сорил деньгами. Доктор, как выяснилось, приходится ему троюродным братом. Однако у богатых людей могут быть очень бедные троюродные братья.

– Но хорошее происхождение – это хорошее происхождение, – сказала Розамонда решительным тоном, который показывал, что она не раз размышляла на эту тему. Розамонда чувствовала, что была бы счастливей, не родись она дочерью мидлмарчского фабриканта. Она не любила никаких напоминаний о том, что отец её матери содержал гостиницу. Впрочем, всякий, кто вспомнил бы об этом обстоятельстве, почти наверное подумал бы, что миссис Винси очень походит на красивую любезную хозяйку гостиницы, привыкшую к самым неожиданным требованиям своих постояльцев.

– Странное имя у него – Третий, – сказала эта добродушная матрона. – Ну да конечно, оно у него родовое. А теперь расскажи поподробнее, какой он.

– Довольно высок, темноволос, умен... хорошо говорит, но, на мой вкус, немножко как самодовольный педант.

– Я никогда не могла понять, что ты подразумеваешь под словами «самодовольный педант», – сказала Розамонда.

– Человека, который старается показать, что у него обо всем есть свое мнение.

– Так ведь, милый, у докторов и должны быть мнения, – заметила миссис Винси. – Их для того и учат.

– Да, маменька, – мнения, за которые им платят. А самодовольный педант навязывает вам свои мнения даром.

– Полагаю, мистер Лидгейт произвел большое впечатление на Мэри Гарт, – произнесла Розамонда многозначительным тоном.

– Право, не знаю, – ответил Фред с некоторой мрачностью, встал из-за стола и, взяв роман, который принес с собой из спальни, бросился в кресло.

– А если ты ей завидуешь, – добавил он, – то бывай почаще в Стоун-Корте и затми ее.

– Я бы хотела, чтобы ты не был таким вульгарным, Фред. Если ты кончил, то позвони.

– Но твой брат сказал правду, Розамонда, – начала миссис Винси, когда служанка убрала со стола и ушла. – Очень грустно, что ты не можешь заставить себя чаще бывать у дяди. Он же гордится тобой и даже приглашал тебя жить у него. Ведь он много мог бы сделать не только для Фреда, но и для тебя. Бог видит, какое для меня счастье, что ты живешь дома со мной, но ради пользы моих детей я найду силы с ними расстаться. Теперь же, надо полагать, ваш дядя Фезерстоун уделит что-то Мэри Гарт.

– Мэри Гарт терпит жизнь в Стоун-Корте, потому что служить в гувернантках ей нравится еще меньше, – сказала Розамонда, складывая свое рукоделие. – А мне не нужно никакого наследства, если ради него я должна сносить кашель дядюшки и общество его противных родственников.

– Он не жилец на этом свете, душечка. Я, конечно, не желаю ему смерти, но при такой астме и внутренних болях следует надеяться, что он найдет отдохновение на том свете. И Мэри Гарт я ничего дурного не желаю, но справедливость есть справедливость. За своей первой женой мистер Фезерстоун никаких денег не взял, не то что за моей сестрой. А потому у ее племянников и племянниц меньше прав, чем у племянников и племянниц моей сестры. И правду сказать, Мэри Гарт до того некрасива, что ей только гувернанткой и быть.

– Тут, маменька, с вами не все согласятся, – заметил мистер Фред, который, по-видимому, был способен и читать и слушать одновременно.

– Что же, милый, пусть даже ей и будет что-нибудь завещано, человек ведь женится на родне жены, а Гарты живут мизерно, хоть во всем себе отказывают, – сказала миссис Винси, искусно обходя скользкое место. – Ну, я не стану больше мешать твоим занятиям, милый. Мне надо кое-чего купить.

– О, таким занятиям Фреда помешать трудно, – сказала Розамонда, тоже вставая. – Он ведь просто читает роман.

– Почитает-почитает, да и возьмется за латынь, – примирительно сказала миссис Винси, погладив сына по голове. – В курительной для этого камин затоплен. Ты ведь знаешь, Фред, милый ты мой, что этого хочет твой отец, а я ему все время повторяю, что ты позанимаешься, вернешься в университет и сдашь экзамен.

Фред взял руку матери и поцеловал ее, но ничего не ответил.

– Наверное, ты сегодня на верховую прогулку не собираешься? – спросила Розамонда, когда миссис Винси вышла.

– Нет. А что?

– Папа разрешил мне теперь ездить на караковой.

– Если хочешь, можешь поехать со мной завтра. Только помни, что я поеду в Стоун-Корт.

– Я так мечтаю о верховой прогулке, что мне все равно, куда мы поедем.

На самом же деле Розамонда очень хотела поехать именно в Стоун-Корт.

– Послушай, Роза, – сказал Фред, когда она была уже в дверях, – если ты будешь сейчас музицировать, то я часок с тобой поупражняюсь.

– Только не сегодня!

– А почему не сегодня?

– Право, Фред, мне хотелось бы, чтобы ты вообще бросил флейту. Когда мужчина играет на флейте, у него такой глупый вид! И ты все время фальшивишь.

– Я расскажу следующему вашему ухажеру, мисс Розамонда, как вы любите оказывать людям одолжения.

– А почему я должна оказывать тебе одолжения, слушая, как ты играешь на флейте, а не ты мне, бросив играть на ней?

– А почему я должен брать тебя с собой на верховую прогулку?

Этот вопрос оказал необходимое воздействие, так как Розамонда не собиралась отказываться от задуманной поездки.

И Фред, добившись своего, почти час разучивал «Ar hyd y nos», «О горы и долины» и прочие любимые мелодии, содержащиеся в его «Самоучителе игры на флейте», с большим рвением и неукротимой надеждой извлекая из инструмента довольно хриплые завывания.

Глава XII

*Какую он измыслил штуку,
Не знал Жервез.*

Джеффри Чосер. Кентерберийские рассказы

Путь в Стоун-Корт, куда на следующее утро отправились верхом Фред и Розамонда, вел через живописные луга, разделенные живыми изгородями, которые все еще сохраняли свою пышную красоту и манили птиц коралловыми ягодами. И каждый луг выглядел по-своему для тех, кто с детства знал каждую их особенность: осененный шепчущимися деревьями пруд в конце одного, где трава была особенно густой и зеленой, а посреди другого – развесистый дуб, в тени которого трава почти не росла; пригорок с высокими ясенями; рыжий откос над заброшенным карьером, отличный фон для густых зарослей репейника; крыши и риги фермы, куда как будто не вело никакой дороги; серые ворота и забор, опоясывающий опушку соседнего леса, и ветхая лачужка, чья старая кровля словно сложена из мшистых холмов и долин, чарующих удивительной игрой света и теней, – вырастая, мы отправляемся в дальние путешествия, чтобы увидеть такие же холмы и долины, правда много больших размеров, но не более красивые. Все это слагается в ландшафт Средней Англии, радующий душу ее уроженцев, – они гуляли здесь, едва научившись ходить, а может быть, запомнили каждую подробность, стоя между колен отца, правящего неторопливо трусящей лошастью.

Однако дорога, хотя и проселочная, была превосходна, ибо Лоуик, как мы уже убедились, не был приходом с ухабистыми проселками и бедными арендаторами, а Фред и Розамонда, проехав две мили, оказались в пределах Лоуика. До Стоун-Корта оставалась еще миля, но уже через полмили они увидели дом, который словно бы не вырос в каменный дворец только потому, что с левого его бока вдруг появились хозяйственные службы и ему пришлось остаться просто добротным жилищем джентльмена-фермера. С этого расстояния он производил особенно приятное впечатление, так как группа островерхих хлебных амбаров создавала симметричное дополнение к аллее прекрасных каштанов справа.

Вскоре на кругу перед парадным крыльцом уже можно было различить какой-то экипаж.

– Ах! – воскликнула Розамонда. – Неужели это кто-нибудь из ужасных дядюшкиных родственников?

– Ты совершенно права. Это двуколка миссис Уол – последняя желтая двуколка на свете, думается мне. Когда я вижу миссис Уол в ее двуколке, я начинаю понимать, почему желтый цвет где-то считается траурным. У этой двуколки, по-моему, более похоронный вид, чем у любого катафалка. Впрочем, миссис Уол всегда носит черный креп. Как это она умудряется, Роза? Ведь не может быть, чтобы ее родственники непрерывно умирали.

– Не имею ни малейшего представления. Она даже не евангелистка, – сказала Розамонда задумчиво, словно принадлежность к этому религиозному толку могла объяснить вечный черный креп.

– И ведь она не бедна, – добавила Розамонда после некоторого молчания.

– Еще бы! Они богаты, как ростовщики, и Уолы, и Фезерстоуны. То есть они из тех, кто скорее удавится, чем потратит лишний фартинг. И тем не менее они кружат возле дядюшки, точно вороны, и трепещут при мысли, что хоть один фунт уплывет мимо их рук. Но по-моему, он их всех терпеть не может.

Миссис Уол, которая вызывала у своих дальних родственников чувства, столь мало напоминающие восхищение, в это самое утро заявила (отнюдь не решительно, а тихим, ничего

не выражающим голосом, словно сквозь вату), что не хотела бы, чтобы они были о ней «доброе мнения». Она напредила, что сидит у очага собственного брата и что, прежде чем стать Джейн Уол, двадцать пять лет была Джейн Фезерстоун, а потому не может молчать, когда именем ее брата злоупотребляют те, кто не имеет на него никакого права.

– На что это ты намекаешь? – спросил мистер Фезерстоун, зажав трость между коленей и поправляя парик. Он бросил на сестру пронизательный взгляд и закашлялся, словно его обдало ледяным сквозняком.

Миссис Уол пришлось ждать с ответом до тех пор, пока Мэри Гарт не подала ему смягчающий сироп и приступ кашля не прошел. Поглаживая золотой набалдашник трости, мистер Фезерстоун угрюмо смотрел на огонь. Огонь пылал ярко, но лицо миссис Уол сохраняло лиловатый знобящий оттенок – лицо это с глазами-щелочками не выражало ничего, как и голос, и даже губы почти не шевелились, когда она говорила.

– Где уж врачам вылечить такой кашель, братец! Вот и я так же кашляю, ведь я ваша сестра и по конституции, и во всем остальном. Но, как я уже говорила, очень жаль, что дети миссис Винси такие распущенные.

– Пф! Ничего подобного ты не говорила. Ты сказала, что кто-то злоупотребляет моим именем.

– Да так оно и есть, недаром ведь люди говорят. Братец Соломон сказал мне, что в Мидлмарче только и разговоров, какой шалопай молодой Винси – не успел вернуться домой, а уже день и ночь в бильярд денежки просаживает.

– Чепуха! Бильярд не азартная игра, это развлечение джентльменов. Да и молодой Винси – не какой-нибудь мужлан. Вот вздумай твой сыночек Джон играть на бильярде, так был бы он дурак дураком.

– Ваш племянник Джон ни в бильярд, ни в какие другие азартные игры не играет, братец, и не проигрывает сотни фунтов, которые, если люди правду говорят, он не от папаши, не от мистера Винси получает. Он, говорят, уже много лет одни убытки терпит, хоть это никому и в голову не придет, глядя, как он роскошествует и держит открытый дом. И я слышала, что мистер Булстроуд очень осуждает миссис Винси за то, что у нее ветер в голове и детей своих она совсем избаловала.

– А мне какое дело до Булстрода? Я в его банке денег не держу.

– Да ведь миссис Булстроуд родная сестра мистера Винси, и все говорят, что мистер Винси ведет дело на денежки из банка, да и сами посудите, братец: когда женщине за сорок, а она вся в розовых лентах и смеется как ни попадя, тут ничего хорошего нет. Только одно дело баловать детей, а искать денежки, чтобы платить за них долги, – совсем другое. А все прямо говорят, что молодой Винси занимал под свои ожидания. А уж чего он там ожидает, этого я сказать не могу. Вот мисс Гарт меня слышит, и пусть на здоровье повторяет, кому хочет. Я знаю, молодежь всегда стоит друг за друга.

– Благодарю вас за разрешение, миссис Уол, – сказала Мэри Гарт. – Но я так не люблю слушать сплетни, что повторять их, конечно же, не стану.

Мистер Фезерстоун погладил набалдашник трости и испустил короткий судорожный смешок, столь же искренний, как улыбка, с какой старый любитель виста смотрит на скверные карты, которые ему сдали. По-прежнему не отводя глаз от огня, он сказал:

– А кто это утверждает, что Фреду Винси нечего ожидать? Такому молодцу, как он?

Миссис Уол ответила не сразу, а когда ответила, ее голос словно увлажнился слезами, хотя лицо осталось сухим.

– Так или нет, братец, а мне и братцу Соломону горько слышать, как вашим именем злоупотребляют, раз уж болезнь у вас такая, что может унести вас в одночасье, а люди, которые такие же Фезерстоуны, как зазывалы на ярмарке, в открытую рассчитывают, что ваше состояние перейдет к ним. А я-то, ваша родная сестра, и Соломон, ваш родной брат! Так для чего

же тогда Всевышний даровал человекам семьи? – Вот тут миссис Уол пролила слезы, хотя и в умеренном количестве.

– Говори прямо, Джейн! – сказал мистер Фезерстоун, повернувшись к ней. – Ты намекаешь, что Фред Винси занял у кого-то деньги под залог того, что он якобы должен получить по моему завещанию?

– Этого, братец, я не говорила. – Голос миссис Уол вновь стал сухим и бесцветным. – Так мне сказал братец Соломон вчера вечером, когда заехал на обратном пути с рынка, чтобы посоветовать, как мне быть с прошлогодней пшеницей: ведь я же вдова, а сыночку моему Джону всего двадцать три года, хотя серьезен он не по летам. А он слышал это от самых надежных людей – и не от одного, а от многих.

– Бабы сплетни! Я ни слову из этого не верю. Одни выдумки. Подойди-ка к окну, девочка. Как будто кто-то едет верхом. Не доктор ли?

– Только не мной это выдумано, братец, и не Соломоном. Ведь он-то, каков бы он ни был – а странности за ним водятся, не стану спорить, – он-то составил завещание и разделил свое имущество поровну между родственниками, с которыми он в дружбе. Хотя, на мой взгляд, бывают случаи, когда одних следует отличать перед другими. Но Соломон из своих намерений тайны не делает.

– Ну и дурак! – с трудом выговорил мистер Фезерстоун и разразился таким кашлем, что Мэри Гарт бросилась к нему, так и не узнав, кто приехал на лошадях, чьи копыта процокали под окном к крыльцу.

Мистер Фезерстоун еще кашлял, когда в комнату вошла Розамонда, которая в амазонке выглядела даже грациознее, чем обычно. Она церемонно поклонилась миссис Уол, а та произнесла сухо:

– Как поживаете, мисс?

Розамонда с улыбкой кивнула Мэри и осталась стоять, дожидаясь, чтобы дядя справился со своим кашлем и заметил ее.

– Ну-ну, мисс, – сказал он наконец, – очень ты разругалась. А где Фред?

– Повел лошадей на конюшню. Он сейчас придет.

– Садись-ка, садись. Миссис Уол, не пора ли тебе ехать?

Даже те соседи, которые прозвали Питера Фезерстоуна старым лисом, не могли бы поставить ему в упрек лицемерную вежливость, и его сестра давно привыкла к тому, что с родственниками он обходится совсем уж бесцеремонно. Впрочем, по ее убеждению, Всевышний, даруя человекам семьи, предоставил им полную свободу от взаимной любезности. Она медленно встала без малейших признаков досады и произнесла обычным своим приглушенным и бесцветным голосом:

– Братец, желаю, чтобы новый доктор сумел вам помочь. Соломон говорит, что его очень хвалят. И уж конечно, я уповаю, что ваш час еще далек. А ухаживать за вами заботливей вашей родной сестры и ваших родных племянниц никто не будет, скажите только слово. И Ребекка, и Джоанна, и Элизабет – вы ведь сами знаете.

– Как же, как же, помню! Сама увидишь, что я их не забыл, – все трое темноволосые и одна другой некрасивее. Им ведь деньги пригодятся, э? В нашем роду красивых женщин никогда не бывало, но у Фезерстоунов всегда водились деньги, и у Уолов тоже. Да, у Уола деньги водились. Солидный человек был Уол. Да-да, деньги – хорошее яичко, и если они у тебя есть, так оставь их в теплом гнездышке. Счастливого пути, миссис Уол.

Мистер Фезерстоун обеими руками потянул свой парик, словно намереваясь закрыть уши, и его сестра удалилась, размышляя над его последними словами, загадочными, как изречение оракула. Как ни опасалась она молодых Винси и Мэри Гарт, под всеми наносами в ее душе пряталось убеждение, что ее брат Питер Фезерстоун ни в коем случае не завещает свою недвижимость помимо кровных родственников: а то зачем бы Всевышний, не послав ему

потомства, прибрал обеих его жен, когда он столько нажил на магнезии и еще на всякой всячине, да так, что люди только диву давались? И зачем тогда в Лоуике есть приходская церковь, где Уолы и Паудреллы из поколения в поколение делили одну скамью, а Фезерстоуны сидели на соседней, если на следующее же воскресенье после кончины ее братца Питера люди узнают, что его родня осталась ни при чем? Человеческое сознание не способно воспринимать нравственный хаос: подобный возмутительный исход был просто невыносим. Но как часто мы страшимся того, что просто невыносимо!

Когда вошел Фред, старик посмотрел на него с веселой искоркой в глазах, которую молодой человек нередко имел основания истолковывать как одобрение его щеголеватому виду.

– Вы, девицы, подите себе, – сказал мистер Фезерстоун. – Мне надо поговорить с Фредом.

– Пойдем ко мне в комнату, Розамонда. Там, правда, холодно, но немножко ведь ты потерпишь, – сказала Мэри.

Девушки не только были знакомы с детства, но и учились в одном пансионе (Мэри, кроме того, занималась там с младшими девочками), а потому их связывали общие воспоминания и они любили поболтать наедине. Собственно говоря, отчасти из-за этого tête-à-tête⁸ Розамонда и хотела поехать в Стоун-Корт.

Мистер Фезерстоун молча ждал, пока дверь за ними не затворилась. Он смотрел на Фреда все с той же искоркой в глазах и пожевывал губами, как у него было в обыкновении. А заговорил он тихим голосом, который больше подошел бы доносчику, намекающему на то, что его можно купить, чем обиженному старшему родственнику. Отступления от правил общественной морали не вызывали у него нравственного негодования, даже когда он сам мог стать их жертвой. Ему представлялось совершенно в порядке вещей, что другие хотят поживиться за его счет, да только он-то им не по зубам.

– Так, значит, сударь, ты платишь десять процентов за ссуду, которую обязался вернуть, заложив мою землю, когда я отойду к праотцам, э? Ну, скажем, ты дал мне год жизни. Но ведь у меня еще есть время изменить завещание.

Фред покраснел. Денег на подобных условиях он по понятным причинам не занимал, но действительно говорил – и, возможно, с куда большей уверенностью, чем ему помнилось, – о том, что сумеет расплатиться с нынешними своими долгами, получив землю Фезерстоуна.

– Я не понимаю, что вы имеете в виду, сэр. Никаких денег я никогда под подобный ненадежный залог не занимал. Объясните мне, будьте так добры.

– Нет уж, сударь, это ты объясняй. У меня ведь есть еще время изменить завещание, вот так-то. Я в здравом уме: могу без счетов вычислить сложные проценты и назвать по фамилии всех дураков не хуже, чем двадцать лет назад. Да и какого черта? Мне еще нет восьмидесяти. Но вот что я тебе скажу: ты давай-ка возражай.

– Но я уже возразил, сэр, – ответил Фред с некоторым раздражением, забывая, что его дядя в своей речи не делал различия между возражением и опровержением, хотя смысла этих понятий отнюдь не путал и про себя нередко удивлялся, сколько дураков принимают его голословные утверждения за доказательства. – Но готов возразить еще раз: это глупая выдумка, и ничего больше.

– Э-э, нет! Ты мне документик подай. Рассказывал-то надежный человек.

– Так назовите его, и пусть он укажет, у кого я занял деньги. Тогда я смогу опровергнуть эту ложь.

– Человек, скажу я тебе, куда как надежный – без его ведома в Мидлмарче мало что случается. Это твой распрекрасный, благочестивый дядя. Ну так как же? – Тут мистер Фезерстоун содрогнулся от внутреннего смеха.

– Мистер Булстрод?

⁸ Разговор наедине (*фр.*).

– А то кто же?

– Ну так эта сплетня выросла из каких-нибудь его нравоучительных замечаний по моему адресу. Или вам сказали, что он назвал человека, который ссудил меня деньгами?

– Если такой человек есть, так Булстроуд знает, кто он, можешь быть спокоен. А если ты, скажем, только пытался занять, а тебе не дали, Булстроуд и про это знал бы. Принеси мне от Булстрода писульку, что он не верит, будто ты обязался заплатить свои долги моей землей. Ну так как же?

На лице мистера Фезерстоуна одна гримаса сменяла другую: он доказал здравость своего ума и твердость памяти и теперь давал выход безмолвному торжеству.

Фред понял, что попал в весьма неприятное положение.

– Вы, наверное, шутите, сэр. Мистер Булстроуд, как и всякий человек, может верить во многое такое, что на самом деле вовсе и не правда, а меня он недолжблнвает. Мне нетрудно добиться, чтобы он написал, что не знает никаких фактов, подтверждающих сплетню, которая до вас дошла, хоть это и может повести к неприятностям. Но как же я потребуу, чтобы он написал, чему про меня верит, а чему не верит! – Фред перевел дух и добавил в расчете на дядюшкино тщеславие: – Джентльмены таких вопросов не задают.

Но его маневр оказался бесполезным.

– Понимаю, понимаю. Ты больше боишься обидеть Булстрода, чем меня. А что он такое? У него в наших краях нет ни клочка земли. Легкую наживу ему подавай! Чуть дьявол перестанет ему подсоблять, так от него пустое место останется. Вот и вся цена его благочестию: Господа хочет в долю взять. Ну, уж это – шалишь! Когда я в церковь хаживал, одно я понял раз и навсегда: Господь, Он к земле привержен. Обещает землю и дарует землю, и кому ниспосылает богатство, так зерном и скотом. А ты вот на другую сторону перекинулся, и Булстроуд с легкой наживой тебе больше по вкусу, чем Фезерстоун и земля.

– Прошу прощения, сэр, – сказал Фред. Он встал со стула и, повернувшись спиной к камину, пощелкивал хлыстом по сапогу. – Ни Булстроуд, ни легкая нажива мне вовсе не по вкусу.

Он говорил угрюмо, понимая, что его слова бесполезны.

– Ну-ну, без меня ты, как вижу, легко обойдешься, – начал мистер Фезерстоун, которому в душе очень не хотелось, чтобы Фред повел себя независимо. – Тебе ни земли не надо, чтобы помещиком зажить, чем в полах-то голодать, ни сотни фунтов в задаточек. Мне-то все едино. Я хоть пять приписок к завещанию сделаю, а банкноты свои приберегу на черный день. Мне-то все едино.

Фред снова покраснел. Фезерстоун редко дарил ему деньги, и лишиться ста фунтов сейчас ему было куда обиднее, чем земли в отдаленном будущем.

– Вы напрасно считаете меня неблагодарным, сэр. И к вашим добрым намерениям по отношению ко мне я отношусь с должным уважением.

– Вот и хорошо. Так докажи это. Принеси мне письмо от Булстрода, что он не верит, будто ты хвастал и обещал уплатить свои долги моей землицей, а тогда, если ты попал в какую-нибудь переделку, мы посмотрим, не смогу ли я тебя выручить. Ну, так как же? По рукам? А теперь поддержи меня, я попробую пройти по комнате.

Фред, как ни был он раздосадован, невольно пожалел никем не любимого, никем не уважаемого старика, который еле передвигал распухшие от водянки ноги и выглядел совсем беспомощным. Поддерживая дядю под локоть, он думал, что не хотел бы стать таким дряхлым и больным, и терпеливо выслушивал обычную воркотню, сначала у окна – о цесарках и о флюгере, а затем перед немногочисленными книжными полками, главное украшение которых составляли Иосиф Флавий, Колпеппер, «Мессиада» Клопштока в кожаных переплетах и несколько номеров «Журнала Джентльмена».

– Прочти мне названия книжек. Ну-ка, ну-ка! Ты ведь обучался в университете.

Фред прочел заглавия.

– Так к чему девочке еще книги? Для чего ты ей их возишь?

– Они доставляют ей удовольствие, сэр. Она любит читать.

– Слишком уж любит, – сварливо заметил мистер Фезерстоун. – Всё предлагала почитать мне, когда сидела со мной. Но я этому положил конец. Почитает вслух газету, ну и довольно для одного дня. А чтобы она про себя читала, так я этого терпеть не могу. Так смотри, больше ей книг не вози, слышишь?

– Слышу, сэр. – Фред не в первый раз получал это приказание и продолжал втайне его нарушать.

– Позвони-ка, – распорядился мистер Фезерстоун. – Пусть девочка придет.

Тем временем Розамонда и Мэри успели сказать друг другу гораздо больше, чем Фред и мистер Фезерстоун. Они так и не сели, а стояли у туалетного столика возле окна. Розамонда сняла шляпку, разгладила вуаль и кончиками пальцев поправляла волосы – не белобрысые и не рыжеватые, а золотистые, как у младенца. Мэри Гарт казалась совсем некрасивой между этими двумя нимфами – одной в зеркале и другой перед ним, – которые глядели друг на друга глазами небесной синевы, такой глубокой, что восхищенные наблюдатели могли прочесть в них самые неземные мысли, и достаточно глубокой, чтобы скрыть истинный их смысл, если он был более земным. В Мидлмарче лишь двое-трое детей могли бы потягаться с Розамондой белокуростью волос, а облегающая амазонка подчеркивала мягкость линий ее стройной фигуры. Недаром чуть ли не все мидлмарчские мужчины, за исключением ее братьев, утверждали, что мисс Винси – лучшая девушка в мире, а некоторые называли ее ангелом. Мэри Гарт, наоборот, выглядела самой обычной грешницей – смуглая кожа, выющиеся темные, но жесткие и непослушные волосы, маленький рост. А сказать, что она была зато наделена всеми возможными добродетелями, значило бы уклониться от истины. Некрасивость, точно так же как красота, несет с собой свои соблазны и пороки. Ей часто сопутствует притворная кротость или же непритворное озлобление во всем его безобразии. Ведь когда тебя сравнивают с красавицей-подругой и называют дурнушкой, этот эпитет, несмотря на всю его справедливость и точность, вызывает далеко не самые лучшие чувства. Во всяком случае, к двадцати двум годам Мэри еще не приобрела того безупречного здравого смысла и тех превосходных принципов, какими рекомендуется обзаводиться девушкам, не столь щедро взысканным судьбой, словно эти качества можно получить по желанию в надлежащей пропорции с примесью покорности судьбе. Живой ум сочетался в ней с насмешливой горечью, которая постоянно обновлялась и никогда полностью не исчезала, хотя иногда и смягчалась благодарностью к тем, кто не учил ее быть довольной своим жребием, а просто старался сделать ей что-нибудь приятное. Приближение поры женского расцвета сгладило ее некрасивость, в которой, впрочем, не было ничего отталкивающего или болезненного, – во все времена и на всех широтах у матерей человеческих под головным убором, иногда изящным, а иногда и нет, можно было увидеть такие лица. Рембрандт с удовольствием написал бы ее, и эти крупные черты дышали бы на полотне умом и искренностью. Потому что искренность, правдивость и справедливость были главными душевными свойствами Мэри, – она не старалась создавать иллюзий и не питала их на свой счет, а в хорошем настроении умела даже посмеяться над собой. Так и теперь, увидев свое отражение в зеркале возле отражения Розамонды, она сказала со смехом:

– Какая я рядом с тобой чернушка, Роза! Должна признаться, ты мне очень не к лицу.

– Ах нет! О твоей внешности никто вовсе не думает, Мэри. Ты всегда так благоразумна и обязательна. Да и какое значение имеет красота! – воскликнула Розамонда, обернувшись к Мэри, и тотчас скосила глаза на свою шейку, открывшуюся теперь ее взгляду.

– То есть моя красота, хочешь ты сказать, – ответила Мэри иронически.

«Бедная Мэри! – подумала Розамонда. – Как ни старайся говорить ей приятное, она все равно обижается».

А вслух она спросила:

– Что ты поделывала последнее время?

– Я? Приглядывала за хозяйством, наливала смягчительный сироп, притворялась заботливой и довольной, а кроме того, продолжала учиться скверно думать о всех и каждом.

– Да, тебе здесь живется тяжело.

– Нет, – резко сказала Мэри, вскинув голову. – По-моему, мне живется куда легче, чем вашей мисс Морган.

– Да, но мисс Морган такая неинтересная и немолодая.

– Наверное, самой себе она интересна, и я не так уж уверена, что возраст приносит облегчение от забот.

– Пожалуй, – сказала Розамонда задумчиво. – Даже непонятно, чем существуют люди, когда у них нет ничего впереди. Ну, конечно, всегда можно найти опору в религии. Впрочем, – и на ее щеках появились ямочки, – тебя, Мэри, такая судьба вряд ли ждет. Тебе ведь могут сделать предложение.

– А ты от кого-нибудь слышала о подобном намерении?

– Ну что ты! Но джентльмен, который видит тебя чуть ли не каждый день, наверное, может в тебя влюбиться.

Мэри слегка переменилась в лице – главным образом из-за твердой решимости в лице не меняться.

– А от этого всегда влюбляются? – спросила она небрежно. – По-моему, это лучший способ невлюбить друг друга.

– Нет, если это интересные и приятные люди. А я слышала, что мистер Лидгейт как раз такой человек.

– Ах, мистер Лидгейт! – произнесла Мэри с полным равнодушием. – Тебе что-то хочется про него разузнать, – добавила она, не собираясь отвечать обиняками на обиняки Розамонды.

– Только нравится ли он тебе.

– Об этом и речи нет. Чтобы мне понравиться, надо быть хоть немного любезным. Я не слишком великодушна и не питаю особой симпатии к людям, которые говорят со мной так, словно не видят меня.

– Он такой гордый? – спросила Розамонда с явным удовлетворением. – Ты знаешь, он из очень хорошей семьи.

– Нет, на эту причину он не ссылся.

– Мэри! Какая ты странная! Но как он выглядит? Опиши мне его.

– Что можно описать словами? Если хочешь, я перечислю его отличительные черты: широкие брови, темные глаза, прямой нос, густые темные волосы, большие белые руки и... что же еще?.. Ах да! Восхитительный носовой платок из тончайшего полотна. Но ты сама его увидишь. Ты же знаешь, что он приезжает примерно в этом часу.

Розамонда чуть-чуть покраснела и задумчиво произнесла:

– А мне нравятся гордые манеры. Терпеть не могу молодых людей, которые трещат как сороки.

– Я ведь не говорила, что мистер Лидгейт держится гордо, но, как постоянно повторяла наша мадемуазель, *il y en a pour tous les goûts*⁹. И если кому-нибудь подобный род самодовольства может прийти по вкусу, так это тебе, Роза.

– Гордость – это не самодовольство. Вот Фред, он правда самодовольный.

– Если бы о нем никто ничего хуже сказать не мог! Ему надо бы последить за собой. Миссис Уол говорила дяде, что Фред страдает легкомыслием. – Мэри поддалась внезапному порыву: подумав, она, конечно, промолчала бы. Но слово «легкомыслие» внушало ей смутную

⁹ Они бывают на всякий вкус (*фр.*).

тревогу, и она надеялась, что ответ Розамонды ее успокоит. Однако о том, в чем миссис Уол прямо его обвинила, она упоминать не стала.

– О, Фред просто ужасен! – сказала Розамонда, которая, конечно, не употребила бы такого слова, разговаривая она с кем-нибудь другим, кроме Мэри.

– Как так – ужасен?

– Он ничего не делает, постоянно сердит папу и говорит, что не хочет быть священником.

– По-моему, Фред совершенно прав.

– Как ты можешь говорить, что он прав, Мэри? Где твое уважение к религии?

– Он не подходит для такого рода деятельности.

– Но он должен был бы для нее подходить!

– Значит, он не таков, каким должен был бы быть. Мне известны и другие люди точно в таком же положении.

– И все их осуждают. Я бы не хотела выйти за священника, однако священники необходимы.

– Отсюда еще не следует, что эту необходимость обязан восполнять Фред.

– Но ведь папа столько потратил на его образование! А вдруг ему не достанется никакого наследства? Ты только вообрази!

– Ну, это мне вообразить нетрудно, – сухо ответила Мэри.

– В таком случае не понимаю, как ты можешь защищать Фреда, – не отступала Розамонда.

– Я его вовсе не защищаю, – сказала Мэри со смехом. – А вот любой приход я от такого священника постаралась бы защитить.

– Но само собой разумеется, он бы вел себя иначе, если бы стал священником.

– Да, постоянно лицемерил бы, а он этому пока не научился.

– С тобой невозможно говорить, Мэри. Ты всегда становишься на сторону Фреда.

– А почему бы и нет? – вспыхнула Мэри. – Он тоже стал бы на мою. Он – единственный человек, который готов побеспокоиться ради меня.

– Ты ставишь меня в очень неловкое положение, Мэри, – кротко вздохнула Розамонда. – Но маме я этого ни за что не скажу.

– Чего ты ей не скажешь? – гневно спросила Мэри.

– Прошу тебя, Мэри, успокойся, – ответила Розамонда все так же кротко.

– Если твоя маменька боится, что Фред сделает мне предложение, можешь сообщить ей, что я ему откажу. Но насколько мне известно, у него таких намерений нет. Ни о чем подобном он со мной никогда не говорил.

– Мэри, ты такая вспыльчивая!

– А ты кого угодно способна вывести из себя.

– Я? В чем ты можешь меня упрекнуть?

– Вот безупречные люди всех из себя и выводят... А, звонят! Нам лучше пойти вниз.

– Я не хотела с тобой ссориться, – сказала Розамонда, надевая шляпку.

– Ссориться? Чепуха! Мы и не думали ссориться. Если нельзя иногда рассердиться, то какой смысл быть друзьями?

– Мне никому не говорить того, что ты сказала?

– Как хочешь. Я меньше всего боюсь, что кто-нибудь перескажет мои слова. Но идем же.

Мистер Лидгейт на этот раз приехал позднее обычного, но гости его дождались, потому что Фезерстоун попросил Розамонду спеть ему, а она, dokonчив «Родина, милая родина» (которую терпеть не могла), сама предупредительно спросила, не хочет ли он послушать вторую свою любимую песню – «Струись, прозрачная река». Жестокосердый старый эгоист считал, что чувствительные песни как нельзя лучше подходят для девушек, а прекрасные чувства – для песен.

Мистер Фезерстоун все еще расхваливал последнюю песню и уверял «девочку», что голос у нее звонкий, как у дрозда, когда под окном процокали копыта лошади мистера Лидгейта.

Он без всякого удовольствия предвкушал обычный неприятный разговор с дряхлым пациентом, который упорно верил, что лекарства обязательно «поставят его на ноги», лишь бы доктор умел лечить, – и это унылое ожидание вкупе с печальным убеждением, что от Мидлмарча вообще нельзя ожидать ничего хорошего, сделали его особенно восприимчивым к тому обворожительному видению, каким предстала перед ним Розамонда, «моя племянница», как поспешил отрекомендовать ее мистер Фезерстоун, хотя называть так Мэри Гарт он не считал нужным. Розамонда держалась очаровательно, и Лидгейт заметил все: как деликатно она загладила бестактность старика и уклонилась от его похвал со спокойной серьезностью, не показав ямочек, которые, однако, заиграли на ее щеках, когда она обернулась к Мэри с таким доброжелательным интересом, что Лидгейт, бросив на Мэри быстрый, но гораздо более внимательный, чем когда-либо прежде, взгляд, успел увидеть в глазах Розамонды неизъяснимую доброту. Однако Мэри по какой-то причине казалась сердитой.

– Мисс Рози мне пела, доктор. Вы же мне этого не воспретите, э? – сказал мистер Фезерстоун. – Ее пение куда приятней ваших снадобий.

– Я даже не заметила, как пролетело время, – сказала Розамонда, вставая и беря шляпку, которую сняла, перед тем как петь, так что ее прелестная головка являла все свое совершенство, точно цветок на белом стебле. – Фред, нам пора.

– Так едем, – ответил Фред. У него были причины для дурного настроения, и ему не терпелось поскорее покинуть этот дом.

– Значит, мисс Винси – музыкантша? – сказал Лидгейт, провожая ее взглядом. (Розамонда каждым своим нервом ощущала, что на нее смотрят. Природная актриса на амплуа, подсанном ее *physique*¹⁰, она играла самое себя, и так хорошо, что даже не подозревала, насколько это и есть ее подлинная натура.)

– Уж конечно, лучшая в Мидлмарче, – объявил мистер Фезерстоун. – Там ей никто и в подметки не годится, э, Фред? Похвали-ка сестру.

– Боюсь, сэр, я заинтересованный свидетель и мои показания ничего не стоят.

– Лучшая в Мидлмарче – это еще не так много, дядюшка, – сказала Розамонда с чарующей улыбкой и повернулась к столику, на котором лежал ее хлыст.

Но Лидгейт успел взять хлыст первым и подал его ей. Она наклонила голову в знак благодарности и посмотрела на него, а так как он, разумеется, смотрел на нее, они обменялись тем особым нежданным взглядом, который внезапен, как солнечный луч, рассеивающий туман. Мне кажется, Лидгейт чуть побледнел, но Розамонда залилась румянцем и ощутила непонятную растерянность. После этого ей действительно захотелось поскорее уехать, и она даже не расслышала, какие глупости говорил ее дядя, когда она подошла попрощаться с ним.

Однако Розамонда заранее предвкушала именно этот исход – такое взаимное впечатление, которое зовется любовью с первого взгляда. Едва общество Мидлмарча получило столь важное новое пополнение, она постоянно рисовала себе картины будущего, начало которому должна была положить примерно такая сцена. Незнакомец, спасшийся на обломке мачты после кораблекрушения или явившийся в сопровождении носильщика и саквояжей, всегда таит в себе обаяние для девственной души, покорить которую оказались не властны привычные достоинства давних воздыхателей. Вокруг незнакомца сплетались и мечты Розамонды – героем ее романа был поклонник и жених не из Мидлмарча и с положением более высоким, чем ее собственное. По правде говоря, в последнее время от него уже требовалось родство по крайней мере с баронетом. И вот теперь, когда встреча с незнакомцем произошла и оказалась куда прекраснее, чем в предвкушении, Розамонда твердо уверовала, что свершилось величайшее

¹⁰ Здесь: наружность (*фр.*).

событие в ее жизни. Она усмотрела в своих чувствах симптомы пробуждающейся любви и не сомневалась, что мистер Лидгейт сразу влюбился в нее. Правда, влюбляются обычно на балах, но почему нельзя влюбиться утром, когда цвет лица особенно свеж? Розамонда, хотя она была не старше Мэри, давно привыкла внушать любовь с первого взгляда, однако сама оставалась равнодушной, одинаково критически взирая и на зеленого юнца, и на пожилого холостяка. И вдруг явился мистер Лидгейт, совершенный ее идеал – чужой в Мидлмарче, с красивой внешностью, говорящей о благородном происхождении, с семейными связями, сулящими доступ в круги титулованной знати, эти небеса богатого мещанства, одаренный талантом: короче говоря, человек, которого особенно приятно покорить. К тому же он затронул прежде безмолвные струны ее натуры, придав ее жизни подлинный интерес взамен прежних воображаемых «а вдруг!».

Вот почему, возвращаясь домой, брат и сестра были погружены в свои мысли и почти не разговаривали. Розамонда, хотя основание ее воздушного замка было, как всегда, почти призрачным, обладала таким дотошным реалистичным воображением, что выглядел он почти как настоящий. Они не проехали и мили, а она уже была замужем, обзавелась необходимым гардеробом, выбрала дом в Мидлмарче и собиралась погостить в поместьях высокородных мужниных родичей, чье аристократическое общество поможет ей отполировать манеры, приобретенные в пансионе, так что она будет готова к еще более высокому положению, которое смутно рисовалось в розовом тумане будущего. Никакие корыстные или другие низменные соображения не участвовали в создании этих картин: Розамонду влекла только так называемая утонченность, а вовсе не деньги, эту утонченность оплачивающие.

Фреда, наоборот, терзали тревожные мысли, и даже обычный неунывающий оптимизм не приходил к нему на выручку. Он не видел способа уклониться от выполнения нелепого требования старика Фезерстоуна, не вызвав последствий, еще более для него неприятных. Отец, и без того им недовольный, рассердится еще сильнее, если из-за него между их семьей и Булстродами наступит новое охлаждение. С другой стороны, ему даже думать не хотелось о том, чтобы самому пойти объясняться с дядей Булстродам, тем более что, разгоряченный вином, он, возможно, и правда наговорил всяких глупостей о фезерстоуновском наследстве, а сплетни их еще преувеличили. Фред понимал, что выглядит он довольно жалко – сначала расхвастался о наследстве, которого ждет от старого скряги, а затем по приказанию этого скряги ходит и выпрашивает оправдательные документы... Да, но наследство! И у него действительно есть основания рассчитывать... Иначе что же ему делать? И еще этот проклятый долг, а старик Фезерстоун почти обещал дать ему денег. И все это до того мизерно! Долг совсем маленький, и наследство в конечном счете не так уж велико. Фред постыдился бы сознаться некоторым из своих знакомых, как незначительны его шалости. Подобные размышления, естественно, вызвали в нем мизантропическую горечь. Родиться сыном мидлмарчского фабриканта без каких-либо особых надежд на будущее, тогда как Мейнуоринг и Вьен... Да, жизнь действительно скверная штука, если пылкому молодому человеку, приверженному всем радостям жизни, в сущности, не на что надеяться.

Фреду не приходило в голову, что Булстрода приплел к этой истории сам Фезерстоун. Впрочем, это ничего не изменило бы. Он ясно видел, что старик хочет доказать свою власть, помучив его немного, а возможно, и посорить его с Булстродам. Фред воображал, будто видит своего дядю Фезерстоуна насквозь, однако многое из того, что он усматривал в душе старика, было просто отражением его собственных склонностей. Познание чужой души – задача трудная, и она не по плечу молодым джентльменам, видящим мир через призму собственных желаний.

Размышлял же Фред главным образом об одном: рассказать все отцу или постараться уладить дело без его ведома. Насплетничала на него, скорее всего, миссис Уол. Если Мэри Гарт

сообщила Розамонде рассказы миссис Уол, все тотчас же станет известно отцу и разговора с ним не избежать. Он придержал лошадь и спросил Розамонду:

– Роза, а Мэри не сказала тебе – миссис Уол про меня что-нибудь говорила?

– Да, говорила.

– А что?

– Что ты страдаешь легкомыслием.

– И все?

– По-моему, и этого достаточно, Фред.

– Но ты уверена, что она больше ничего не говорила?

– Мэри сказала только это. Но право же, Фред, тебе должно быть стыдно.

– А, чепуха! Не читай мне нотаций! А что Мэри еще говорила?

– Я не обязана тебе рассказывать. Тебе так интересно, что говорит Мэри, а мне ты очень грубо не даешь говорить.

– Конечно, мне интересно, что говорит Мэри. Она лучше всех девушек, каких я знаю.

– Вот уж не думала, что в нее можно влюбиться.

– А откуда тебе знать, как влюбляются мужчины! Девицам это неизвестно.

– Во всяком случае, послушай моего совета, Фред, и не влюбляйся в нее. Она говорит, что не выйдет за тебя, если ты сделаешь ей предложение.

– Ну, она могла бы подождать, пока я его сделаю.

– Я знала, Фред, что тебя это заденет.

– Ничего подобного! И она бы так не сказала, если бы ты ее на это не вызвала.

Когда они подъехали к дому, Фред решил, что коротко расскажет обо всем отцу и, может быть, тот возьмет на себя неприятную обязанность объясниться с Булстродам.

Книга II. Старость и юность

Глава XIII

Первый джентльмен

*...Ваш человек,
Как распознать его? Из лучших он
Иль плащ хорош, а сам под ним он плох?
Святой иль плут, паломник иль ханжа?*

Второй джентльмен

*Ответьте, как распознаёте вы
Достоинства неисчислимых книг,
Наследье всех времен? Не прощайте вам
По переплетам их сортировать?
Телячья кожа, бархат и сафьян
Не хуже будут хитрых ярлычков,
Придуманных для сортировки книг,
Никем не читанных.*

После разговора с Фредом мистер Винси решил заехать в банк к половине второго, когда у Булстрода обычно никого не бывало, и побеседовать с ним в уединении его кабинета. Однако на сей раз у банкира сидел посетитель, который явился в час, но вряд ли должен был скоро удалиться, так как мистер Булстрод, судя по всему, собирался сказать ему очень многое. Речь банкира при всей своей гладкости отличалась многословием, и к тому же он часто прерывал ее многозначительными короткими паузами. Не думайте, что его болезненный вид объяснялся желтизной кожи, как у смуглых брюнетов. Кожа у него была просто бледная, жидкие, подернутые сединой волосы – каштановые, глаза – светло-серые, а лоб – высокий. Шумные люди называли его приглушенный голос шепотом и порой намекали, что так говорят только те, кому есть что скрывать, хотя неясно, почему человек, если он не умеряет своего громкого голоса, обязательно должен быть открытым и искренним, – в Святом Писании, кажется, нигде не указано, будто вместилищем прямооты служат легкие. Кроме того, мистер Булстрод имел манеру вежливо наклоняться к говорящему и вперять в него внимательный взгляд, а потому тем, кто, по их собственному мнению, излагал чрезвычайно важные вещи, начинало казаться, что он совершенно с ними согласен. Людям же, которые не считали себя оракулами, не нравилось чувствовать на себе лучи этого нравственного фонаря. Если ваш погреб не внушает вам гордости, вы не почувствуете ни малейшего удовольствия, когда ваш гость начнет с видом знатока рассматривать свою рюмку на свет. Похвала приносит радость, только когда она заслуженна. А потому внимательный взгляд мистера Булстрода не нравился мытарям и грешникам Мидлмарча. Одни объясняли эту его привычку тем, что он фарисей, а другие – его принадлежностью к евангелическому толку. Более дотошные спрашивали, кто его отец и дед, добавляя, что двадцать пять лет тому назад в Мидлмарче никто и слыхом не слыхал ни о каких Булстродах. Впрочем, нынешний его посетитель – Лидгейт – не обращал на испытующий взгляд ни малейшего внимания, а просто заключил, что здоровье банкира оставляет желать лучшего и что он живет напряженной внутренней жизнью, чуждаясь материальных удовольствий.

– Я сочту себя чрезвычайно вам обязанным, мистер Лидгейт, если вы время от времени будете заглядывать ко мне сюда, – сказал банкир после краткой паузы. – Если, как смею наде-

яться, я буду иметь честь найти в вас деятельного споспешника в управлении больницей, столь важное дело неизбежно породит множество вопросов, которые лучше будет обсуждать privately. Касательно же новой больницы, уже почти достроенной, я обдумываю вашу рекомендацию предназначить ее для лечения одних только горячек. Решение зависит от меня, ибо лорд Медликоут, хотя и предоставил для постройки землю и строительный материал, сам заниматься больницей не склонен.

– Для такого провинциального города трудно найти что-то столь многообещающее, – сказал Лидгейт. – Прекрасная новая больница, отданная под лечение горячек, может при сохранении старой послужить основой для создания медицинского училища, после того как мы добьемся нужных медицинских реформ. А что полезнее для медицинского образования, чем открытие таких училищ по всей стране? Человек, родившийся в провинции, если он хоть сколько-нибудь наделен общественным духом, обязан по мере сил противостоять соблазнам Лондона, притягивающего к себе все, что хотя бы чуть-чуть поднимается над посредственностью. Ведь в провинции всегда можно найти более свободное и обширное, если и не столь богатое, поле деятельности.

К природным дарам Лидгейта следует причислить голос – обычно низкий и звучный, но способный в нужную минуту стать тихим и ласковым. В его манере держаться чувствовалась независимость, бесстрашное упование на успех, вера в собственные силы и настойчивость, которая укреплялась презрением к мелким помехам и соблазнам, впрочем на опыте еще не изведенным. Однако эта гордая прямота смягчалась обаятельной доброжелательностью. Возможно, мистеру Булстроуду нравилось это различие в их голосах и манере держаться. И несомненно, ему, как и Розамонде, мистер Лидгейт особенно нравился потому, что был в Мидлмарче чужим. С новым человеком можно испробовать столько нового! И даже попытаться самому стать лучше.

– Я буду очень рад, если смогу предоставить больше простора для вашего рвения, – ответил мистер Булстроуд. – То есть поручить вам управление моей новой больницей при условии, что не обнаружится ничего, могущего этому воспрепятствовать, ибо я твердо решил, что столь важное предприятие не следует отдавать на произвол наших двух врачей. Более того, я склонен рассматривать ваш приезд сюда как благой знак, что на моих усилиях, которые до сих пор встречали столько препон, почиет благословение. В отношении старой больницы мы уже сделали первый, но важный шаг – добившись вашего избрания, имею я в виду. И теперь, надеюсь, вы не побоитесь навлечь на себя зависть и неприязнь ваших собратьев по профессии, открыто показав себя сторонником реформ.

– Не стану утверждать, что я особенно храбр, – с улыбкой ответил Лидгейт, – но, признаюсь, мне нравится вступать в бой, и я был бы плохим врачом, если бы не верил, что и на попрание медицины, как и на любом другом, можно найти и ввести новые, лучшие методы.

– В Мидлмарче, любезный сэр, ваша профессия не вызывает большого уважения, – сказал банкир. – Я имею в виду знания и искусство наших медиков, а не их положение в обществе – почти все они находятся в родстве с самыми почтенными семьями города. Мое собственное слабое здоровье вынуждало меня прибегать к тем способам облегчения недугов, которые Божественное милосердие предоставило в наше распоряжение. Я обращался к светилам в столице и по горькому опыту знаю, сколь отстали методы лечения у нас, в провинциальной глуши.

– Да, при наших нынешних медицинских правилах и образовании приходится удовлетворяться и тем, что хотя бы иногда встречаешь приличного практикующего врача. Ну а все высшие вопросы, определяющие подход к диагнозу, например общее истолкование медицинских данных, – они требуют научной культуры, о которой обычный практикующий врач знает не больше, чем первый встречный.

Мистер Булстроуд, нагибаясь к мистеру Лидгейту с самым внимательным видом, обнаружил, что форма, в которую тот облек свое согласие, несколько выше его понимания. В подоб-

ных обстоятельствах благоразумный человек предпочитает переменить тему и обратиться к вопросам, которые позволяют применить его собственные познания.

– Я отдаю себе отчет в том, – начал он, – что медицина по самой своей сущности располагает к практическим взглядам и средствам. Тем не менее, мистер Лидгейт, надеюсь, у нас не возникнет разногласий относительно дела, которое вряд ли может вас живо интересовать, хотя ваше благожелательное содействие было бы для меня весьма полезным. Я полагаю, вы признаете духовные нужды ваших пациентов?

– Разумеется. Но для разных людей эти слова имеют разный смысл.

– Совершенно справедливо. Неверное же учение приводит в этой области к столь же роковым последствиям, как полное его отсутствие. И моя заветная цель – исправить положение, существующее в старой больнице. Она расположена в приходе мистера Фербратера. Вы знакомы с мистером Фербратером?

– Я знаю его в лицо. Он подал за меня свой голос. Мне следует заехать к нему, чтобы его поблагодарить. Он кажется очень неглупым и приятным человеком. Если не ошибаюсь, он интересуется естественными науками?

– Мистер Фербратер, любезный сэр, – это человек, о котором нельзя не скорбеть. Полагаю, трудно найти священника, наделенного столь большими талантами... – Мистер Булстрод многозначительно умолк и словно задумался.

– Меня избыток талантов в Мидлмарче пока еще не заставлял скорбеть! – объявил мистер Лидгейт.

– Желаю же я, – продолжал мистер Булстрод, становясь еще более серьезным, – чтобы больницу изъяли из ведения мистера Фербратера и назначили туда капеллана... мистера Тайка, собственно говоря... и чтобы к услугам других духовных лиц не прибегали.

– Как врач я не могу высказать никакого мнения по этому вопросу, пока не познакомлюсь с мистером Тайком, но и тогда мне прежде нужно будет узнать, в каких именно случаях потребовалась его помощь, – с улыбкой сказал мистер Лидгейт, твердо решив соблюдать осторожность.

– Ну конечно, вы пока еще не в состоянии оценить всю важность этой меры. Но... – тут голос мистера Булстрода обрел особую настойчивость, – вопрос этот, весьма вероятно, будет передан на рассмотрение медицинского совета старой больницы, и мне кажется, я могу попросить вас о следующем: памятуя о нашем будущем сотрудничестве, столь для меня ценном, я не хотел бы, чтобы вы в этом вопросе поддались влиянию моих противников.

– Надеюсь, мне не придется принимать участие в клерикальных спорах, – сказал Лидгейт. – У меня одно желание: достойно трудиться на избранном мною поприще.

– Лежащая же на мне ответственность, мистер Лидгейт, не столь ограничена. Для меня речь идет о соблюдении священных заветов, а моими противниками, как у меня есть все основания считать, руководит лишь суетное желание настоять на своем. Но я ни на йоту не поступлюсь моими убеждениями и не отрекусь от истины, внушающей ненависть грешному поколению. Я посвятил себя делу улучшения больниц, но смело признаюсь вам, мистер Лидгейт, что больницы меня не заинтересовали бы, считай я их назначением одно лишь исцеление телесных недугов. Мною руководят иные побуждения, и я не стану их скрывать даже перед лицом преследований.

Последние слова мистер Булстрод произнес взволнованным шепотом.

– Тут мы, несомненно, расходимся... – сказал мистер Лидгейт и ничуть не пожалел, когда дверь открылась и клерк доложил о приходе мистера Винси. После того как он увидел Розамонду, этот добродушный румяный человек стал ему гораздо интереснее. Не то чтобы, подобно ей, он грезил о будущем, в котором их судьбы соединились, однако мужчина всегда с удовольствием вспоминает встречу с обворожительной девушкой и бывает рад пообедать там, где может увидеть ее еще раз. А мистер Винси, хотя прежде он «не торопился с этим приглаше-

нием», теперь не упустил случая его сделать – во время завтрака Розамонда упомянула, что дядюшка Фезерстоун как будто весьма жалуется своего нового врача.

Когда мистер Лидгейт откланялся и мистер Булстрод остался наедине с шурином, он налил себе стакан воды и открыл коробку с бутербродами.

– Вы по-прежнему не хотите испробовать мою диету, Винси?

– Нет-нет, меня эта система не прельщает. Для жизни нужна хорошая подкладка, – подпустил свою излюбленную теорию мистер Винси, не в силах удержаться от соблазна. – Однако, – он произнес это слово так, будто отбрасывал все не относящееся к делу, – я заехал поговорить про историю, в которую попал мой шалопай Фред.

– Боюсь, тут мы так же не сойдемся, Винси, как и во взглядах на диету.

– Ну, надеюсь, не на этот раз. – Мистер Винси твердо решил сохранять добродушие. – Собственно говоря, тут причиной каприз старика Фезерстоуна. Кто-то сочинил мерзкую сплетню и довел ее до сведения старика, чтобы настроить его против Фреда. Он к Фреду очень привязан и, наверное, думает о нем позаботиться. Он почти прямо сказал Фреду, что собирается оставить ему свою землю, ну, кое-кто и завидует.

– Винси, я должен повторить, что по-прежнему не одобряю того, как вы воспитывали своего старшего сына. Вы захотели сделать его священником из одного лишь суетного тщеславия. Имея троих сыновей и четверых дочерей, вы не должны были выбрасывать деньги на дорогостоящее образование, которое только привило ему праздные привычки и склонность к мотовству. И теперь вы пожинаете плоды.

Мистер Булстрод считал своим долгом указывать на чужие ошибки и уклонялся от исполнения этого долга очень редко, однако терпение мистера Винси имело предел. Когда человек вот-вот может стать мэром и готов в интересах коммерции занять твердую позицию в политике, он, естественно, ощущает важность своей роли в общем ходе событий, что отодвигает все вопросы частной жизни на задний план. Этот же упрек был ему неприятнее любого другого. Говорить ему, что он пожинает плоды, было совершенно излишне. Однако над ним тяготело иго Булстрода, и, хотя при обычных обстоятельствах ему доводилось взбрыкнуть, на сей раз он предпочел не искать такого облегчения.

– К чему ворошить прошлое, Булстрод? Я себя непогрешимым не считаю и никогда не считал. И предвидеть заранее все приливы и отливы в торговле я тоже не мог. В Мидлмарче не было дела солиднее нашего, а мальчик подавал надежды. Мой бедный брат стал священником и, несомненно, преуспел бы... Он уже получил приход, и если бы его не сразила желудочная лихорадка, быть бы ему по крайней мере настоятелем. Мне кажется, то, что я сделал для Фреда, вполне оправдывалось обстоятельствами. Если уж говорить о религии, то, на мой взгляд, человек не должен заранее отмерять свой кусок мяса с точностью до унции – следует все-таки уповать на Провидение и не скряжничать. Стремиться по возможности возвысить свою семью – вот истинный английский дух, и, по моему мнению, отец обязан открывать перед сыновьями все пути.

– Поверьте, Винси, только самые дружеские чувства к вам вынуждают меня заметить, что все вами сейчас сказанное – одна лишь суетность и нагромождение нелепиц.

– Ну и прекрасно, – взбрыкнул-таки мистер Винси вопреки всем твердо принятым решениям. – Я никогда не утверждал, что суетность мне чужда, и более того, кто, скажите мне, не суетен? Полагаю, в делах вы не следуете тому, что называете благочестивыми принципами. На мой взгляд, разница лишь в том, что одна суетность немного честнее другой.

– Такого рода споры всегда бесплодны, Винси, – сказал мистер Булстрод, который доел бутерброд и, откинувшись на спинку кресла, прикрыл глаза ладонью, словно от усталости. – У вас ведь есть ко мне какое-то определенное дело?

– Да-да. Ну, чтобы не тратить лишних слов, кто-то, ссылаясь на вас, насплетничал Фезерстоуну, будто Фред занял или пытался занять деньги под землю, которую рассчитывает полу-

чить от него в наследство. Само собой разумеется, вы подобного вздора не говорили. Однако старик требует, чтобы Фред привез ему написанное вашей рукой опровержение, ну, то есть записочку, что все это чепуха и вы не думаете, будто он занимал или пытался занять деньги таким дурацким способом. Полагаю, против этого у вас никаких возражений не будет.

– Прошу прощения, возражения у меня есть. Как я могу быть уверен, что ваш сын по легкомыслию и невежеству – я не стану употреблять более жестких слов – не попытался занять деньги под залог предполагаемого наследства или даже что не нашлось глупца, который согласился на столь зыбкое обеспечение и ссудил их ему? Такие ссуды, подобно многим другим нелепостям, в этом мире не редкость.

– Но Фред дал мне честное слово, что у него никогда и в мыслях не было занимать деньги в расчете на то, что дядя, быть может, завещает ему свою землю. А Фред не лгун. Я не собираюсь обелять его. Я задал ему хорошую головоломку – никто не имеет права говорить, будто я смотрю на его проделки сквозь пальцы. Но он не лгун. И мне казалось, хотя, возможно, я и ошибаюсь, что никакая религия не воспрещает верить лучшему о молодом человеке, если достоверно вы ничего плохого о нем не знаете. Какая же это религия, когда вы вставляете ему палки в колеса, не желая сказать, что не верите пакостной сплетне о нем, хотя верить ей у вас нет никаких здравых причин?

– Я не так уж уверен, что окажу услугу вашему сыну, расчищая ему путь для получения фезерстоуновского наследства. Я не считаю, что богатство – благо для тех, кто пользуется им, только чтобы пожинать плоды удовольствия в этом мире. Вам, Винси, не нравится выслушивать подобные вещи, но я чувствую себя обязанным сказать, что у меня нет никакого побуждения способствовать тому, чтобы эта собственность была завещана так, как вы упомянули. Не побоюсь сказать, что это не послужит ни вечному спасению вашего сына, ни славе Божьей. С какой же стати вы настаиваете, чтобы я написал подобное поручительство, укрепив тем самым неразумное пристрастие и содействуя неразумному завещательному распоряжению?

– Если ваша цель – добиваться того, чтобы богатыми были только святые и евангелисты, вам бы следовало отказаться от некоторых выгодных деловых связей, вот и все, что я могу сказать! – выпалил мистер Винси. – Может быть, голубую и зеленую краску, которые Плимдейл получает из Брассинга, он употребляет к вящей славе Божьей, да только не к славе мидлмарчских товаров. Они разъедают шелк, вот это мне известно. Может быть, если другие люди узнают, что прибыль употребляется во славу Божью, их это успокоит. Но я остаюсь тут при своем мнении и, если сочту нужным, подниму шум.

Мистер Булстроуд помолчал, а затем ответил:

– Ваши слова меня очень огорчают, Винси. Я не жду, чтобы вы поняли, чем я руководствуюсь в своих действиях: вплести нить принципов в сложную ткань мира очень нелегко, но еще труднее сделать явной эту нить для равнодушных и бегущих истины. Вам же не следует забывать, насколько я считаю с тем, что вы брат моей жены, и подумайте, прилично ли вам обвинять меня в нежелании содействовать материальному благополучию вашей семьи. Я вынужден напомнить вам, что вы сохраняете прежнее положение не благодаря вашей предусмотрительности и верности суждений.

– Вполне возможно, но вы покуда не терпели из-за меня убытков, – ответил мистер Винси, которого слова банкира совершенно вывели из себя (от чего не спасают никакие заранее принятые твердые решения). – И, женись на Гарриет, вы ведь должны были понимать, что наши семьи будут с этих пор связаны одной веревочкой. А если вы передумали и хотите, чтобы моя семья потеряла свое прежнее положение, так прямо и скажите. Я ведь такой, каким был всегда, и прилежу церкви не меньше, чем в те дни, когда обо всех ваших доктринах никто и не слышал. И в коммерции, и во всем другом мир для меня таков, какой он есть. С меня достаточно быть не хуже моих ближних. Но если вы хотите, чтобы мы потеряли свое прежнее положение, так и скажите. И я буду знать, что мне делать.

– Вы говорите необдуманно. Если ручательство за вашего сына написано не будет, значит ли это, что вы потеряете свое прежнее положение?

– Потеряю не потеряю, а ваш отказ все равно возмутителен. Может быть, такие вещи с изнанки и подшиты религией, но с лица они выглядят не так уж красиво и пахнут собакой на сене. Ну что же, черните Фреда! Ведь оно так и выходит, если вы отказываетесь подтвердить, что не вы распустили о нем эту клевету. Вот такое тираническое самодовольство, такое желание быть не просто банкиром, а еще и епископом, и рождает всякие сплетни.

– Винси, если вы во что бы то ни стало хотите со мной поссориться, это будет чрезвычайно больно не только мне, но и Гарриет, – сказал мистер Булстрод, бледнея чуть больше обычного и чуть более живым тоном.

– Я ссориться не хочу. В моих интересах – а может быть, и в ваших – нам лучше оставаться друзьями. Я на вас не обижаюсь и думаю о вас не хуже, чем обо всех прочих. Человек вроде вас, который морит себя голодом, читает все положенные молитвы, ну и прочее в том же духе, искренен в своей религии, какова бы она ни была. Хотя с помощью проклятий и божбы вы могли бы оборачивать свой капитал несколько не медленнее – мало ли таких. Вам нравится брать верх во всем, от этого никуда не уйти: и на небесах вы желаете быть в первом ряду, не то вам там не очень понравится. Но вы – муж моей сестры, и нам следует держаться друг друга. А если мы поссоримся, Гарриет, насколько я ее знаю, будет считать, что виноваты в ссоре вы, потому что вы делаете из мухи слона и отказываетесь помочь Фреду. И не хочу скрывать: я так просто этого не забуду. По-моему, вы поступаете некрасиво.

Мистер Винси встал и начал застегивать пальто, пристально глядя на зятя в ожидании решительного ответа.

Не в первый раз мистер Булстрод поучал мистера Винси, а в результате бывал вынужден созерцать весьма нелестное свое отражение в том лишенном глубины зеркале, каким было сознание фабриканта, в зеркале, которое воспроизводило людей грубо, без тонкой игры света и теней, – несомненно, банкир по прошлому опыту должен был знать, чем завершится такой разговор. Однако включенный фонтан щедро выбрасывает свои струи и в дождь, когда они более чем бесполезны, и столь же неукротим могучий источник предостережений и нравоучений.

Не в характере мистера Булстрода было сразу же уступать скрытым угрозам. Прежде чем он изменял план действий, ему требовалось время, чтобы придать нужную форму своим побуждениям, приведя их в соответствие с привычными понятиями о нравственности. А потому он сказал после паузы:

– Я подумаю, Винси. Поговорю с Гарриет. И возможно, пришлю вам письмо.

– Хорошо. Но только побыстрее. Надеюсь, все будет решено прежде, чем я увижусь с вами завтра.

Глава XIV

*Дам рецепт я вам в забаву,
Научу варить на славу
Сладкой праздности приправу —
Многим блюдо то по нраву:
Сперва подачек нахватать,
Их с оплеухами смешать,
Подлить густого масла лести
С сиропом самохвальства вместе,
Разбавить мотовством на треть
И в чайные наследства греть.*

По-видимому, разговор мистера Булстрода с Гарриет привел к желанному для мистера Винси результату: во всяком случае, рано утром на следующий день он получил письмо, которое Фред мог отвезти мистеру Фезерстоуну в качестве требуемого свидетельства.

Из-за холодной погоды старик в этот день остался в постели, и, так как в гостиную Мэри Гарт не оказалось, Фред немедленно поднялся к дяде в спальню и вручил ему письмо. Мистер Фезерстоун полусидел, удобно опираясь на подушки, и не меньше обычного наслаждался сознанием, как мудро он поступает, никому не доверяя и ставя всех в тупик. Он водрузил на нос очки, скривил рот и принялся читать письмо:

— «В данных обстоятельствах я не откажусь высказать свое убеждение»... тьфу! И слова-то все какие звучные! Прямо-таки аукционщик! «...что Ваш сын Фред не получал никаких ссуд под недвижимость, обещанную ему мистером Фезерстоуном...» Обещанную? Да когда же это я обещал? Я ничего не обещаю и буду делать столько приписок к завещанию, сколько захочу, «...и что, учитывая характер подобного займа, представляется невероятным, чтобы разумный и порядочный молодой человек попытался его сделать...». Ага! Но тебя-то этот господин не называет разумным и порядочным, заметь-ка, сударь. «...Что же касается моей причастности к подобным утверждениям, то я самым решительным образом заявляю, что никогда никому не говорил, будто Ваш сын занял деньги под залог недвижимого имущества, каковое может отойти к нему после кончины мистера Фезерстоуна...» Подумать только! «Недвижимое имущество... может отойти... кончина»! Стряпчий Стэндиш ему и в подметки не годится. Да старайся он занять деньги, и то слаще спеть не сумел бы. Ну что же... — Мистер Фезерстоун поглядел на Фреда поверх очков и пренебрежительно вернул ему письмо. — Уж не воображаешь ли ты, что я поверю Булстроде, что бы он там ни расписывал?

Фред покраснел.

— Вы пожелали, чтобы такое письмо было написано, сэр. И думается, слово мистера Булстрода весит не меньше слова тех, кто вам все это наговорил.

— Конечно, не меньше. Я же не говорил, что кому-то тут верю. Ну а теперь чего ты ждешь? — резко сказал мистер Фезерстоун и, не сняв очков, спрятал руки под пледом.

— Я ничего не жду, сэр. — Фред с трудом сдерживал раздражение. — Я привез вам письмо. И могу тотчас уехать, если вы этого хотите.

— Погоди-ка, погоди. Позвони, пусть придет девочка.

Однако пришла служанка.

— Пусть придет девочка! — нетерпеливо сказал мистер Фезерстоун. — Куда она подевалась? Когда вошла Мэри, он и с ней заговорил тем же тоном:

– Почему ты не сидела тут, как тебе было сказано? Мне нужен мой жилет. Я же тебе раз и навсегда велел, чтобы ты клала его на постели.

Глаза у Мэри были красные, точно она плакала. Мистер Фезерстоун, несомненно, пребывал в это утро в одном из самых сварливых своих настроений, и хотя старик как будто собирался раскошелиться, а Фреду деньги были очень нужны, он лишь с трудом сдержался и не крикнул старому тирану, что Мэри Гарт слишком хороша, чтобы ею смели так помыкать. Хотя при ее появлении Фред поднялся ей навстречу, она его словно не заметила: казалось, все ее нервы трепетали в предчувствии, что в нее вот-вот что-то бросят. Впрочем, ничего страшнее слов ей никогда не угрожало. Когда она пошла к вешалке за жилетом, Фред последовал за ней и сказал:

– Разрешите, я вам помогу.

– Не трогай! – крикнул мистер Фезерстоун. – Неси его сюда, девочка, и положи вот тут. А теперь иди и не возвращайся, пока я тебя не позову, – добавил он, когда она положила жилет на постель. Он любил выражать свое благоволение одному тем, что допекал кого-нибудь другого, а Мэри всегда была под рукой для этой цели. Когда же приезжали его кровные родственники, он обращался с ней гораздо ласковее.

Старик медленно вытащил связку ключей из кармана жилета и столь же медленно извлек из-под пледа жестяную шкатулку.

– Небось ждешь, что я тебя озолочу, э? – сказал он, положив руку на крышку и поглядев на Фреда поверх очков.

– Вовсе нет, сэр. Вы сами тогда любезно сказали, что хотите сделать мне подарок, не то я вообще ни о чем подобном не думал бы.

Однако Фред всегда предпочитал надеяться на лучшее, и перед его глазами возникла сумма, которой как раз должно было хватить, чтобы избавить его от одной неприятной заботы. Когда у Фреда заводился долг, ему неизменно казалось, что обязательно произойдет что-то – он не трудился представить себе, что именно, – и долг будет уплачен в срок. И вот теперь его надежды, по-видимому, сбывались. Нелепо же думать, что дар окажется меньше, чем ему нужно, – словно у благочестивого человека достало бы веры принять лишь половину чуда, а не все чудо целиком.

Руки с набухшими венами перебирали банкноты, много банкнот – разглаживали их, клали обратно, а Фред сидел, откинувшись на спинку кресла и гордо сохраняя равнодушие. Он считал себя джентльменом, и ему не нравилась мысль, что он заискивает перед стариком ради его денег. Наконец мистер Фезерстоун взглянул на него поверх очков и протянул ему тощую пачку банкнот. Фред сразу разглядел, что их всего пять. Но он видел лишь ничего не говорящие края, а каждая могла быть достоинством в пятьдесят фунтов. Он взял их со словами «очень вам благодарен, сэр!» и собирался сложить, не глядя, словно не интересуясь суммой, но это не устраивало мистера Фезерстоуна, который не спускал с него глаз.

– Ты что же, не желаешь даже пересчитать их? Берешь деньги, точно лорд, так и мотаешь их, наверное, как лорд.

– Я думал, что дареному коню в зубы не смотрят, сэр. Но я с удовольствием их пересчитаю.

Однако, пересчитав их, Фред особого удовольствия не испытал, ибо, как ни нелепо, сумма оказалась меньше той, которой он ждал с такой уверенностью. Что есть соответствие вещей, как не то, что они соответствуют ожиданиям человека? Иначе у его ног разверзается бездна бессмыслицы и атеизма. Когда Фред убедился, что держит пять бумажек всего лишь по двадцать фунтов, он испытал жгучее разочарование, и знакомство с университетскими науками ему ничуть не помогло. Тем не менее, пока краска на его лице быстро сменялась бледностью, он сказал:

– Вы очень щедры, сэр!

– Еще бы! – ответил мистер Фезерстоун и, заперев шкатулку, снова ее спрятал, затем неторопливо снял очки и лишь тогда, словно поразмыслив и окончательно убедившись в правоте своих слов, повторил: – Еще бы не щедр!

– Поверьте, сэр, я очень вам благодарен, – сказал Фред, уже успевший обрести обычный веселый вид.

– Ты и должен быть благодарен. Хочешь щеголять, а, кроме Питера Фезерстоуна, тебе рассчитывать-то и не на кого. – И глаза старика заблестели от двойного удовольствия – при мысли, что этот ловкий молодой человек полагается на него и что в таком случае этот ловкий молодой человек довольно-таки глуп.

– Да, конечно. Нельзя сказать, чтобы я родился в сорочке. Мало кому приходилось так себя ограничивать, как мне, – сказал Фред, немножко дивясь собственной добродетели, выдержавшей столь тяжкие испытания. – Не слишком приятно ездить на гунтере с запалом и смотреть, как люди, которые куда меньше тебя понимают в лошадях, выбрасывают огромные деньги за негодных кляч.

– Ну, вот теперь можешь купить себе хорошего гунтера. Восемидесяти фунтов на это хватит, я думаю. И у тебя останется еще двадцать, чтобы выкарабкаться из какой-нибудь проделки, – сказал мистер Фезерстоун, посмеиваясь.

– Вы очень добры, сэр, – произнес Фред, полностью отдавая себе отчет в том, насколько мало эти слова соответствуют его подлинным чувствам.

– Да уж, этот дядюшка будет получше твоего хваленного дяди Булстрода. От его махинаций тебе наверняка мало что перепадает. А он крепко привязал твоего папашу за ножку, как я слышал, э?

– Отец никогда со мной о своих делах не разговаривает, сэр.

– Вот это с его стороны умно. Только людям все равно кое-что о них известно, как он там ни держит язык за зубами. После него ты мало чего получишь, да и умрет он без завещания. Такой уж он человек, и пусть они, коли им нравится, выбирают его мэром Мидлмарча. Завещания он не напишет, а тебе все равно мало что достанется, хоть ты и старший сын.

Фред подумал, что мистер Фезерстоун никогда не был столь невыносимым. Правда, он никогда еще не дарил ему сразу столько денег.

– А письмо мистера Булстрода, сэр, сжечь его? – спросил Фред, вставая с письмом в руке.

– Жги себе на здоровье. Мне за него денег не получить.

Фред отнес письмо к камину и с большим наслаждением проткнул его кочергой. Ему не терпелось уйти, но сделать это, едва спрятав деньги, было неловко – и не только перед мистером Фезерстоуном, но и перед самим собой. Однако тут в спальню вошел управляющий, чтобы доложить хозяину, как идут дела на ферме, и Фред, к невыразимому его облегчению, был отослан с распоряжением приехать опять, да не откладывая.

Ему не терпелось не только расстаться с дядей, но и поскорее увидеть Мэри Гарт. На этот раз он нашел ее в гостиной – она сидела на своем обычном месте у камина с шитьем в руках. На столике рядом с ней лежала открытая книга. Глаза Мэри были уже не такими красными, и к ней вернулось ее обычное самообладание.

– Я нужна наверху? – спросила она, привстав со стула.

– Нет. Меня отпустили, потому что пришел Симмонс.

Мэри села и наклонилась над шитьем. Она, несомненно, держалась с Фредом равнодушнее обычного, но ведь она не знала, как охотно он встал бы на ее защиту, когда дядя ей выговаривал.

– Можно мне посидеть немножко с вами, Мэри, или вам будет скучно?

– Садитесь, прошу вас, – сказала Мэри. – Надоесть так, как мистер Джон Уол, вы все-таки не способны, а он был вчера тут и сел, не спросив моего разрешения.

– Бедняга! По-моему, он в вас влюблен.

– Я этого не замечаю. И все-таки как ужасно, что девушка не может быть просто благодарна человеку за его доброту, – обязательно надо считать, будто она в него влюблена либо он в нее. И уж я-то, кажется, могла бы быть от этого избавлена. У меня нет никаких оснований тщеславно воображать, будто всякий, кто перемолвится со мной двумя-тремя словами, непременно в меня влюблен.

Мэри не собиралась выдавать своих чувств, но под конец этой тирады в ее голосе прозвучало раздражение.

– Черт бы побрал Джона Уола! Я не хотел вас рассердить. Откуда мне было знать, что у вас есть причины быть ему благодарной? Я забыл, что вы считаете великой услугой, если кто-нибудь задует за вас свечку. – У Фреда была своя гордость, и он не собирался показывать, что знает, почему Мэри вдруг вспыхнула.

– Я вовсе не сержусь! То есть сержусь, но на то, как устроен мир. Да, мне нравится, когда со мной говорят не как с пустоголовой дурочкой. Я, право же, думаю, что способна понять куда больше того, о чем со мной считают возможным болтать молодые джентльмены, даже учившиеся в университете. – Мэри уже взяла себя в руки, и в ее голосе звучал еле сдерживаемый смех, отчего он стал очень приятным.

– Смейтесь надо мной сколько хотите, – сказал Фред. – Когда вы вошли в спальню, у вас был такой грустный вид! Это невыносимо – что вы должны оставаться тут и терпеть постоянные упреки.

– Ну, у меня не такая уж трудная жизнь – относительно, конечно. Я пробовала стать учительницей, но ничего не получилось: я слишком люблю думать по-своему. Уж лучше терпеть самую страшную нужду, чем притворяться, будто ты делаешь то, за что тебе платят, и не делать этого как следует. А тут я все делаю не хуже кого угодно, а может быть, и лучше многих – например, Розы. Хотя она как раз такая красавица, какие в сказках томятся в плену у людоеда.

– Это Розы-то! – воскликнул Фред тоном, исполненным глубочайшего родственного скептицизма.

– Послушайте, Фред, – выразительно сказала Мэри, – не вам быть таким взыскательным.

– Вы подразумеваете что-то конкретное... вот сейчас?

– Нет. Только общее... как всегда.

– А, что я лентяй и мот. Ну а что мне делать, если я не создан быть бедняком? Родись я богатым, то был бы не так уж плох.

– Вы бы исполнили свой долг на том жизненном пути, какой Господь вам не даровал, – сказала Мэри, рассмеявшись.

– Ну, я бы не мог исполнять свой долг, стань я священником, – не больше, чем вы, будь вы гувернанткой. Вы могли бы посочувствовать мне по-товарищески, Мэри.

– Я никогда не говорила, что вам следует стать священником. Но можно найти себе другое занятие. По-моему, тот, кто неспособен выбрать для себя что-то и добиваться успеха на избранном поприще, просто жалок.

– Ну и я мог бы найти, если бы... – Фред умолк и, встав, оперся локтем о каминную полку.

– Если бы были уверены, что не унаследуете значительного состояния?

– Я этого не говорил. Вы хотите со мной поссориться. И очень плохо с вашей стороны верить тому, что на меня наговаривают.

– Ну как я могу с вами поссориться? Это значило бы поссориться со всеми моими новыми книгами, – сказала Мэри, беря томик, лежавший на столе. – Как бы плохо вы ни вели себя с другими, ко мне вы очень добры.

– Потому что вы мне нравитесь больше всех. Но вы меня презираете, я знаю.

– Да, немножечко, – кивнув, сказала Мэри и улыбнулась.

– Чтобы вам понравиться, надо быть семи пядей во лбу.

– Пожалуй. – Мэри быстро делала стежок за стежком, по-видимому чувствуя себя хозяйкой положения. А Фред испытывал то, что обычно испытывают люди, когда разговор идет не так, как им хотелось бы, и с каждой новой попыткой выбраться из трясины неловкости они только больше в ней увязают.

– Наверное, женщина вообще не способна полюбить мужчину, если знает его давно... с тех пор как себя помнит. У мужчин это как раз наоборот. А девушки всегда влюбляются в тех, кого видят в первый раз.

– Погодите, – сказала Мэри, и уголки ее рта шаловливо вздернулись. – Дайте-ка припомнить, что говорит мой опыт. Джульетта... она как будто подтверждает ваши слова. Но вот Офелия, вероятно, была знакома с Гамлетом довольно давно, а Бренда Тройл знала Мордаунта Мертон с самого детства – впрочем, он, кажется, был во всех отношениях примерным молодым человеком. Минна же без памяти полюбила Кливленда, едва его увидев. Уэверли был новым знакомым Флоры Мак-Айвор – впрочем, она в него не влюбилась. Да, еще Оливия и Софья Примроуз, а также Коринна – они, можно сказать, полюбили с первого взгляда. Нет, на основании моего опыта нельзя прийти ни к какому выводу.

Мэри бросила на своего собеседника лукавый взгляд, и Фред обрадовался, хотя глаза ее были всего лишь словно два чистых окна, за которыми смеялась Наблюдательность. Он по натуре был мягок и привязчив, и, по мере того как он рос, из мальчика становясь мужчиной, росла и его любовь к подруге детских игр – росла, вопреки аристократическим взглядам на доходы и положение в свете, почерпнутым в университете вместе с науками.

– Когда человека не любят, какой толк говорить ему, что он мог бы стать лучше... мог бы сделать что угодно... Вот если бы он был уверен, что его за это любят...

– Да, конечно, говорить, что он «мог бы», никакого толку нет. «Мог бы», «стал бы», «захотел бы» – какие пустые и жалкие слова.

– По-моему, человек может стать по-настоящему хорошим, только если его любят.

– А мне кажется, ждать любви он имеет право, только став хорошим.

– Вы сами знаете, Мэри, что в жизни так не бывает. Женщины влюбляются не за это.

– Может быть. Но женщина никогда не считает плохим того, кого любит.

– А все-таки называть меня плохим несправедливо.

– Я о вас ни слова не говорила.

– Из меня не выйдет никакого толку, Мэри, если вы не скажете, что любите меня, не обещаете, что выйдете за меня замуж... то есть когда я получу возможность жениться.

– Если бы я вас и любила, замуж за вас я бы не пошла. И уж конечно, обещать вам я ничего не стану.

– По-моему, это очень дурно с вашей стороны, Мэри. Если вы меня любите, вы должны дать мне обещание выйти за меня.

– А мне, напротив, кажется, что дурно с моей стороны было бы выйти за вас, даже если бы я вас любила.

– То есть сейчас, когда у меня нет средств, чтобы содержать семью. Так это само собой разумеется. Но мне только двадцать три года.

– Последнее, безусловно, поправимо. Но я не так уверена, что вы способны исправиться и в других отношениях. Мой отец говорит, что бездельникам и жить незачем, а уж жениться и подавно.

– Так что же мне – застрелиться?

– Зачем же? По-моему, вам проще будет сдать экзамен. Мистер Фербратор говорил, что он до неприличия легок.

– Очень мило! Ему-то все легко. Хотя тут вовсе ума и не требуется. Я вдесятеро умнее многих, кто его благополучно сдал.

– Подумать только! – сказала Мэри, не удержавшись от сарказма. – Вот, значит, откуда берутся младшие священники вроде мистера Кроуза. Разделите ваш ум на десятерых, и результат – подумать только! – сразу получит степень. Но из этого следует лишь, что вы вдесятеро ленивее всех прочих.

– Ну, предположим, я сдам, но вы же не захотите, чтобы я стал приходским священником?

– Вопрос не в том, чего хочу или не хочу я. У вас ведь есть совесть, я полагаю. А! Вон мистер Лидгейт. Надо пойти предупредить дядю.

– Мэри! – воскликнул Фред, беря ее за руку, когда она встала. – Если вы не дадите мне никакой надежды, я стану не лучше, а хуже.

– Никакой надежды я вам не дам, – ответила Мэри, краснея. – Это не понравилось бы вашим близким, да и моим тоже. Я уроню себя в глазах отца, если приму предложение человека, который берет деньги в долг и не хочет работать.

Фред обиженно отпустил ее руку. Мэри направилась к дверям, но вдруг обернулась и сказала:

– Фред, вы всегда были очень добры ко мне, очень внимательны, и я вам очень благодарна. Но больше не говорите со мной на эту тему.

– Хорошо, – угрюмо ответил Фред, беря шляпу и хлыст. Его лицо пошло бледно-розовыми и белыми пятнами. Подобно многим провалившимся на экзамене молодым бездельникам, он был по уши влюблен... в некрасивую девушку без состояния! Однако намеки мистера Фезерстоуна на то, как он, по-видимому, решил распорядиться своей землей, и неколебимое убеждение, что Мэри, что бы она ни говорила, на самом деле его любит, помогли Фреду не впасть в полное отчаяние.

Вернувшись домой, он вручил четыре банкноты матери на сохранение, объяснив:

– Я не хочу тратить эти деньги, маменька. Они мне нужны, чтобы вернуть долг. А потому лучше спрячьте их от меня.

– Ах, милый мой мальчик! – сказала миссис Винси. Она обожала старшего сына и младшую дочь (шестилетнюю девочку), которые, по мнению всех, были наименее примерными из ее детей. Однако пристрастность материнского сердца вовсе не всегда оказывается обманутой. В любом случае мать лучше кого бы то ни было может судить, насколько нежен и привязчив ее ребенок. А Фред, бесспорно, очень любил свою мать. И возможно, желание принять меры, чтобы не растратить сто фунтов, внушила ему любовь к еще одной женщине: у кредитора, которому он должен был сто шестьдесят фунтов, было очень весомое обеспечение – вексель, подписанный отцом Мэри.

Глава XV

*Всех волшебниц прежних дней
Ты расторг оковы.
Так какой в душе твоей
Вспыхнул пламень новый?*

*Я в красавицу влюблен.
Путь к ней мне неведом.
Тут я зовом ободрен,
Там – чуть видным следом.*

*И мне явится она
В золоте восхода,
Вечной юности полна —
Дивная Природа.*

Великий историк, как он предпочитал себя называть, имевший счастье умереть сто двадцать лет тому назад и занять свое место среди колоссов, между гигантскими ногами которых свободно проходим мы, живущие ныне лилипуты, особенно славен своими неподражаемыми отступлениями и обращениями к читателю, наиболее блистательными в начальных главах каждого из томов его истории, когда он словно усаживается в кресло на просцениуме и беседует с нами, чаруя сочностью и легкостью своего изумительного языка. Однако Филдинг жил в век, когда дни были длиннее (ведь время, подобно деньгам, измеряется нашими нуждами), летние полуденные часы – продолжительнее, а в зимние вечера маятник постукивал медленнее. Нам, поздним историкам, не следует брать в пример его неторопливость, а если мы и попробуем, речь наша, наверное, окажется сбивчивой и невнятной, словно мы произносим ее со складного стула перед клеткой с попугаями. У меня, во всяком случае, достаточно забот с тем, чтобы распутывать нити нескольких человеческих судеб, смотреть, как они свиты и переплетены между собой, и мне приходится направлять свет своей лампы только на эту паутину, а не рассеивать его по соблазнительным просторам того, что зовется вселенной.

Теперь же мне предстоит познакомить с доктором Лидгейтом тех, кому интересен этот новый обитатель Мидлмарча, – и познакомить гораздо ближе, чем успели его узнать тамошние жители, даже видевшиеся с ним чаще остальных. Ведь человек может вызывать похвалы, восхищение, зависть или насмешки, рассматриваться как полезное орудие, зажечь любовь в чьем-то сердце или хотя бы быть намеченным в мужа и в то же время оставаться непонятым и, в сущности, никому не известным – всего лишь совокупностью внешних признаков, которые его ближние толкуют вкривь и вкось. Однако, по общему мнению, Лидгейт не походил на простого провинциального лекаря, а в те дни подобное мнение в Мидлмарче означало, что от него ждут чего-то незаурядного. Ибо домашний врач каждой семьи был на редкость искусен и замечательно умел управлять ходом самых капризных и тяжких недугов. Искусность его подтверждалась неопровержимым свидетельством самого высокого порядка – интуитивным убеждением его пациенток, оспорить которое было невозможно, хотя порой одна интуиция приходила в непримиримое столкновение с другой: дама, узревшая медицинскую истину в Ренче и его «укрепляющем лечении», считала Толлера и «ослабляющую систему» медицинской анафемой. Ибо героические времена пластырей и отворения жил тогда еще не совсем окончились, а тем более времена крутых мер, когда болезнь получала какое-нибудь скверное наименование и лечилась соответствующим образом без сомнений и проволочек – словно бы это был мятеж и

усмирать его полагалось не холостыми патронами, а сразу обильным кровопусканием. Укрепители и ослабители все были, по мнению кого-то, «искусными врачами», а большего ведь нельзя сказать даже про самого талантливого человека – во всяком случае, если он еще жив. Никто, разумеется, не воображал, будто мистер Лидгейт знает не меньше доктора Спрэга или доктора Минчина, тех двух единственных целителей, которые были способны посулить надежду и в крайне опасных случаях, когда самая малая надежда стоила гинейю. И все же общее мнение считало Лидгейта незаурядным по сравнению с большинством мидлмарчских врачей. Да так оно и было. В двадцать семь лет многие люди еще остаются незаурядными; в этом возрасте они еще надеются на великие свершения, решительно избегают компромиссов, верят, что мамона никогда не взнуздает и не оседлает их, а наоборот – если уж им придется иметь дело с мамонной – покорно повлечет их триумфальную колесницу.

Он остался сиротой в тот же самый год, когда окончил школу. Его отец был военным и почти не обеспечил детей, а потому, когда Третий выразил желание заняться медициной, опекуны сочли возможным исполнить просьбу юноши и, вместо того чтобы возражать против такого поношения фамильной чести, устроили его учеником к деревенскому доктору. Он принадлежал к тем редким людям, которые еще в детстве находят свое призвание и выбирают себе профессию потому, что она нравится им, а не потому, что тем же занимались их отец и дед. Почти все мы, кого влечет то или иное поприще, храним в памяти тот утренний или вечерний час, когда мы влезли на табурет, чтобы достать с полки прежде не читанный том, или с открытым ртом слушали рассказы нового собеседника, или за неимением книг просто начали внимать внутреннему голосу, – короче говоря, тот час, с которого началась наша любовь к своему призванию. Так произошло и с Лидгейтом. Он был любознательным мальчуганом, – устав играть, он устраивался в уголке и через пять минут с головой уходил в книгу, которая первой попала ему под руку. Если это оказывались «Путешествия Гулливера» или «Расселас» – тем лучше, но неплохи были и «Словарь» Бейли, и Библия с апокрифами. Когда он не скакал на своем пони, не бегал, не охотился и не слушал разговоры взрослых, он читал. Таков он был в десять лет. Он тогда прочел «Золотой, или Приключения Гинейи» – книгу, не похожую ни на молоко для младенцев, ни на разведенный водой мел, который выдают за молоко, и в нем уже созрело убеждение, что книги – чушь, а жизнь глупа. Занятия в школе не заставили его переменить мнение, – хотя он «показывал успехи» в древних языках и математике, он в них не блистал. О нем говорили, что Лидгейт способен добиться всего, чего захочет, но в то время ему еще ничего не хотелось добиваться. Он был здоровым, полным сил подростком с острым умом, но в нем не мерцало ни единой искры интеллектуальной страсти. Знания казались ему лишь внешним лоском, приобрести который не составляет большого труда, а судя по разговорам взрослых, того, что он уже знал, было более чем достаточно для жизни. Вероятно, в ту эпоху фраков с короткой талией и других пока не возродившихся мод дорогостоящее обучение давало подобные плоды не так уж редко. Но однажды во время каникул дождливая погода заставила его перерыть домашнюю библиотеку в поисках чего-нибудь еще не читанного. Тщетная надежда! Хотя... А вон те пыльные тома с серыми бумажными корешками и выцветшим тиснением? Тома старой энциклопедии, покой которых он никогда прежде не нарушал. Почему бы не нарушить его теперь! Все-таки развлечение. Они стояли на самой верхней полке, и, чтобы дотянуться до них, ему пришлось влезть на стул. Он открыл первый том, едва взяв его в руки, – почему-то мы охотно начинаем читать в местах и позах, казалось бы, не слишком удобных для такого занятия. Книга открылась на статье об анатомии, и раздел, который он пробежал глазами, был посвящен клапанам сердца. Слово «клапан» мало что для него значило – складные двери или что-то вроде этого, – но вдруг из этой щелки ударил ослепительный свет, и он был поражен, впервые осознав, какой тонкий механизм скрыт в человеческом теле. Дорогостоящее образование, разумеется, дало ему возможность свободно читать непристойные места в произведениях античных авторов, и мысль о внутреннем строении тела несла в

себе что-то тайное и стыдное, но в остальном его воображение оставалось незатронутым, – возможно, он даже считал, что его мозг помещается в двух небольших мешочках в висках, и уж во всяком случае не спрашивал себя, каким образом циркулирует его кровь, точно так же как не задавался вопросом, каким образом бумага заменяет золото. Но призвание нашло его, и, прежде чем он спрыгнул со стула на пол, мир в его глазах обновился, суля открытие бесчисленных процессов, заполняющих гигантские просторы, заслоненные от его взгляда пустым многословием, которое ему дотоле представлялось знанием. В этот час в душе Лидгейта зародилась интеллектуальная страсть.

Мы не боимся вновь и вновь рассказывать о том, как мужчина полюбил женщину и сочетался с ней браком либо роковым образом был с ней разлучен. Избыток ли поэтичности или избыток глупости повинен в том, что мы вечно готовы описывать женскую «красоту и прелесть», как выразился король Иаков, и вечно внимать бренчанию струн старинных трубадуров и остаемся сравнительно равнодушны к иной «красоте и прелесть», покорение которой требует прилежной мысли и отречения от мелких себялюбивых желаний? История и этой страсти слагается по-разному – иногда она увенчивается счастливейшим браком, а иногда завершается горьким разочарованием и вечной разлукой. Нередко причиной роковой развязки становится та, другая, воспетая трубадурами страсть. Ибо среди множества мужчин в летах, ежедневно исполняющих свои обязанности по заведенному порядку, который был предписан им примерно так же, как цвет и узел их галстуков, всегда найдется немало таких, кто в дни молодости верил, что он сам определит свою судьбу, а может быть, и чуть-чуть изменит мир. О том, как их обломало под общий образец, как они вернулись на проторенную дорожку, они даже сами себе почти никогда не рассказывают. Возможно, пыл, с каким они беззаветно отдавали силы и труд, ничего за это не получая, мало-помалу остыл столь же незаметно, как угасает пыл других юных увлечений, и наконец наступил день, когда все, чем они были прежде, стало лишь призраком, бродящим по старому дому, бесприютным и страшным среди новой мебели. Нет в мире ничего более тонкого, чем процесс этих постепенных изменений. Вначале они менялись, сами того не ведая, может быть заражаясь даже от нас с вами, когда мы в сотый раз провозглашали какую-нибудь общепринятую ложь или приходили к привычно глупым выводам, – а может быть, причиной был трепет, вызванный женским взглядом.

Лидгейт не собирался увеличивать число этих неудачников, и у него были все основания для такой надежды, так как его интерес к наукам вскоре преобразился в увлечение своей профессией. Она была для него не просто обеспечением хлеба насущного, и эту юношескую веру не угасили сумбурные дни его ученичества: занимаясь затем в Лондоне, Эдинбурге, Париже, он свято хранил убеждение, что врачебная профессия (такая, какой она могла бы стать) – лучшая в мире, ибо предлагает идеальное взаимодействие между наукой и искусством и самый непосредственный союз между интеллектуальными победами и общественным благом. Именно этого требовала натура Лидгейта: он умел глубоко чувствовать и, вопреки всем отвлеченным ученым занятиям, сохранял живую человечность. Ему были интересны не просто «заболевания», но и Джон, и Элизабет, особенно Элизабет.

Его профессия была хороша еще и потому, что требовала преобразований, давала возможность с негодованием отвергнуть сопряженные с ней материальные выгоды и всяческую мишуру и стать взамен обладателем подлинных знаний и умения, пусть их от него и не требуют. Отправляясь завершать свое образование в Париж, он уже твердо решил, что по возвращении на родину начнет практиковать в каком-нибудь провинциальном городе и будет противиться необоснованному разделению терапии и хирургии как ради собственных научных целей, так и ради общего развития медицины. Он будет держаться в стороне от лондонских интриг, зависти, прислужничества и завоюет известность – пусть медленно, как в свое время Дженнер, – только самостоятельной ценностью своих трудов. Ибо следует помнить, что то был темный период и, вопреки усилиям почтенных колледжей, которые старались обеспечить чистоту

знаний, делая их труднодоступными, и исключить возможность ошибок, поддерживая строжайшую кастовость в отношении гонораров и назначений, весьма невежественные молодые люди сплошь и рядом становились врачами в городах, а еще большее число их приобретало законное право заводить обширную практику в деревне. К тому же высокие требования коллегии врачей, санкционировавшей дорогостоящее и весьма ученое медицинское образование, которое получали выпускники Оксфорда и Кембриджа, несколько не мешали процветанию всяческих шарлатанов: раз дипломированные доктора обычно прописывали множество всяческих лекарств, то широкая публика приходила к выводу, что лишние снадобья не помешают, особенно если они стоят дешево, и галлонами глотала сомнительные зелья, которые предлагало ей честное невежество, не обремененное никакими дипломами. Учитывая, что статистика еще не установила, какое число невежественных или недобросовестных врачей должно существовать вопреки всем изменениям, Лидгейт пришел к выводу, что улучшение качества отдельных слагаемых является наиболее прямым способом улучшения их суммы. Сам он собирался всеми силами способствовать изменениям, которые в будущем благотворно скажутся на среднем уровне, а тем временем находить удовольствие в том, что организмы его пациентов благодаря ему будут в более выгодном положении по сравнению с другими. Однако он не просто намеревался лечить добросовестнее и лучше других своих коллег, но и лелеял более широкие замыслы: ему казалось, что он сумеет разработать доказательства некоторых анатомических концепций и добавить свое звено к цепи открытий.

Вам кажется, что лекарю из Мидлмарча не пристало грезить об открытиях? Большинству из нас великие первооткрыватели становятся известны, только когда они, засияв новыми звездами, уже правят нашими судьбами. Но разве тот самый Гершель, который «распахнул врата небес», не был одно время органистом маленькой провинциальной церкви и не давал уроки музыки ленивым ученикам? Каждый из этих светочей ходил по грешной земле среди ближних своих, и те, возможно, гораздо больше интересовались его наружностью и одеждой, чем занятиями, открывшими ему путь к непреходящей славе; у каждого из них была своя маленькая будничная жизнь с обычными соблазнами и мелкими заботами, которые превращались в рывки и ухабы на их пути в храм бессмертия. Лидгейт сознавал опасность таких препятствий, но твердо полагался на свою решимость всемерно их избегать: в двадцать семь лет он, по его убеждению, был уже достаточно умудрен опытом. К тому же он ведь не собирался испытывать свое тщеславие, присоединившись к шумному карнавалу удачи среди столичной суеты, а выбрал жизнь среди людей, неспособных стать его соперниками в поисках воплощения великой идеи, которые он намеревался совмещать с ревностным исполнением своих обязанностей врача. Как пленительна была надежда, что эти две цели будут взаимно дополнять друг друга! Тщательное наблюдение за ходом болезни каждого пациента, использование микроскопа для уточнения диагноза в особых случаях – все это будет служить пищей для мысли, способствовать успеху более общих исследований. Разве не в этом заключается одно из величайших преимуществ его профессии? Он будет хорошим мидлмарчским врачом, и благодаря этому ему откроется возможность важнейших изысканий. В одном отношении его тогдашние планы, бесспорно, заслуживали одобрения: он не собирался подражать тем образцовым благотворителям, которые, живя на доходы с ядовитых маринадов, занимаются обличением фальсификации пищевых продуктов или входят в долю с содержателями игорного дома, чтобы обеспечить себе досуг для борьбы за чистоту общественных нравов. Он намеревался незамедлительно ввести в собственной практике кое-какие доступные ему новшества – задача, бесспорно, более простая, чем поиски доказательств анатомических концепций. Например, он твердо решил действовать в согласии с недавним судебным решением и только прописывать лекарства, а не составлять их самому и не брать процента с аптекарей. Это, несомненно, было новшеством для врача, практикующего в провинциальном городе, и его собратья по профессии неминуемо должны были расценить такой образ действий как оскорбительный упрек в их адрес. Однако Лидгейт

хотел и лечить по-новому, причем у него достало благоразумия понять, что честно следовать своим убеждениям на деле он сможет, только если ему удастся избегать постоянного соблазна поступаться ими.

Быть может, то время было более благоприятным для наблюдателей и теоретиков, чем нынешнее. Годы, когда шло открытие Америки, слынут поистине чудесной эпохой, ибо смелый моряк, даже потерпев крушение, мог очутиться в прежде неведомом царстве. А в преддверии тридцатых годов нашего века неисследованные области патологии поистине были чудесной Америкой для смелого искателя приключений. Больше всего Лидгейт жаждал внести свою лепту в расширение научной, рациональной основы своей профессии. Чем сильнее увлекали его специальные вопросы вроде природы горячки или горячек, тем острее он ощущал, насколько необходимо знание общей структуры – проблему эту в самом начале века осветили замечательные труды Биша, который, хотя и умер всего на тридцать втором году жизни, успел, подобно Александру, оставить после себя царство настолько обширное, что его хватило на многих наследников. Великий француз первым выдвинул концепцию, что живые тела по сути представляют собой не совокупность органов, которые можно сначала изучить по отдельности, а затем, так сказать, в союзе, но состоят из определенных первичных сплетений или тканей, из каковых и образуются различные органы – мозг, легкие, сердце и прочие, точно так же как различные части здания строятся из дерева, железа, кирпича, цинка и других материалов, различных по свойствам и соотношениям. Разумеется, не узнав предварительно свойств этих материалов, никто не может понять и оценить все здание или отдельные его части – где их слабые места и что требует починки. И концепция Биша, подробно изучившего различные ткани, озарила медицинские проблемы, точно газовые фонари – темную, освещавшуюся ворвань улочку, выявляя новые связи и прежде неизвестные свойства структуры, которые необходимо было принимать во внимание, рассматривая симптомы болезней и действие лекарств. Однако результаты, зависящие от человеческого разума и совести, достигаются медленно, и в 1829 году практическая медицина в значительной мере еще шествовала и спотыкалась на старых путях, так что перед продолжателями Биша открывалось достаточно широкое поле деятельности. Этот великий провидец считал ткани конечной основой живого организма, ставящей предел анатомическому анализу. Однако кто-то другой мог задать себе вопрос: «А нет ли у этих структур некоей исходной основы, положившей начало им всем, как шелк, атлас, бархат и газовые материи восходят к кокону шелкопряда?» Тогда вспыхнул бы новый свет, словно при взрыве гремучего газа, и, выявив самую суть вещей, потребовал бы пересмотра всех прежних объяснений. Вот такое-то продолжение трудов Биша, уже намечавшееся во многих течениях европейской мысли, и манило Лидгейта: он жаждал выявить самые внутренние связи живых структур и содействовать приближению человеческих представлений к истине. Работа еще не была сделана – завершились лишь предварительные приготовления для тех, кто умел бы ими воспользоваться. Что такое первичная ткань? Так поставил вопрос Лидгейт – несколько иначе, чем того требовал еще скрытый ответ. Но многие искатели истины не находят нужного слова. И он рассчитывал на периоды затишья, чтобы вести исследования в полную силу, надеялся получить драгоценные сведения, прилежно применяя не только скальпель, но и микроскоп, который теперь вновь вдохновлял ученых, уверовавших в его надежность. Вот так виделось Лидгейту его будущее: добросовестный будничный труд на пользу Мидлмарча и научные свершения на благо всего мира.

В свои двадцать семь лет он, несомненно, был счастлив: никаких привычных пороков, благородная решимость посвятить себя полезной деятельности, идеи и замыслы, придававшие жизни всепоглощающий интерес и без культа породистых лошадей или других, столь же дорогостоящих нынешних культов, которые во мгновение ока поглотили бы восемьсот фунтов, оставшиеся у него после того, как он купил практику. Он вступал в пору деятельности – момент, словно созданный для заключения пари, если бы какие-нибудь любители этого раз-

влечения додумались биться об заклад относительно исхода чужих судеб, что требовало бы умения оценивать все сложные «за» и «против» убежденного призвания, все препоны и благоприятные обстоятельства, все тонкости внутренней гармонии, которые побуждают человека энергично стремиться к намеченной цели или же, наоборот, без борьбы отдаться на волю течения. Ведь даже самое близкое знакомство с характером Лидгейта не исключило бы риска, ибо характер тоже находится в процессе изменений и становления. Лидгейт еще не сложился не только как мидлмарчский доктор или как свершитель бессмертного научного подвига, но и как человек: многие его достоинства и недостатки в дальнейшем могли развиваться или исчезнуть. Надеюсь, из-за этих недостатков ваш интерес к нему не угаснет. Разве среди наших самых ценимых друзей не найдется таких, кто чуть-чуть излишне самоуверен и нетерпим, чей высокий ум не свободен от некоторой пошлости, а широта взглядов и суждений кое-где стеснена и искажена предрассудками, или чьи силы иной раз под влиянием минутных соображений отдаются на служение не тому, чему следовало бы? Все это можно поставить в упрек Лидгейту, но, с другой стороны, подобные общие фразы приводят на память осторожного проповедника, который рассуждает об Адаме и не говорит ничего такого, что могло бы задеть почтенных прихожан. Недостатки, послужившие основой для этих деликатных обобщений, обладают собственной физиономией, собственными манерами, выговором, гримасами и играют особые роли в самых разных драмах. Наши суетные качества столь же разнятся, как и наши носы. Самодовольство бывает разным точно так же, как все особенности духовного склада, благодаря которым мы не походим друг на друга. Самодовольство Лидгейта было высокомерным – не заискивающим, не развязным, но непреклонным в своих требованиях и добродушно-пренебрежительным. Он всегда был готов помогать безобидным дуракам, потому что жалел их и не сомневался в своем превосходстве. Так, в Париже он подумывал о том, чтобы присоединиться к последователям Сен-Симона и убедить их в никчемности некоторых их доктрин. Все прочие его недостатки были отмечены сходными чертами и вполне соответствовали облику обладателя красивого баритона, чья одежда всегда отлично на нем сидела, а жесты, даже самые простые, дышали врожденным достоинством. Ну а пошлость? – спросит меня юная девица, плененная таким непринужденным изяществом. Откуда возьмется пошлость в человеке, если он столь благовоспитан, столь жаждет отличиться, столь великодушен и необычен во взглядах на свой общественный долг? Оттуда же, откуда берется глупость в гении, если ненароком задать ему вопрос относительно предмета, в котором он не осведомлен, или дурной вкус у того, кто готов всеми силами способствовать наступлению на земле царства социальной справедливости, но, воображая, какими будут тогда развлечения, не способен пойти дальше музыки Оффенбаха или блестящих каламбуров последнего бурлеска. Пошлость Лидгейта заключалась в предрассудках, которые при всем благородстве его интересов и намерений были по большей части самыми заурядными, – высота духа, отмечавшая его интеллектуальный пыл, не повлияла ни на его мнения и суждения о мебели и женщинах, ни на желание, чтобы окружающие узнали (разумеется, не прямо от него), что по своему происхождению он много превосходит обычных деревенских врачей. В настоящее время он не собирался думать о мебели, но, когда его мысли все-таки обращались к ней, боюсь, ни биология, ни планы реформ не спасали его от вульгарных опасений, что его осудят, если мебель у него не будет самой лучшей.

Что касается женщин, то однажды он уже поддался безотчетному, безумному порыву – как он полагал, в первый и последний раз, ибо брак где-то в отдаленном будущем, конечно, не окажется плодом безотчетного порыва. Тем, кто хочет познакомиться с Лидгейтом поближе, следует узнать обстоятельства его прошлого безумия, ибо они показывают его способность подчиняться нерассуждающей страсти и рыцарственную доброту, придающую особое обаяние его нравственному облику. Вот эта история вкратце. Произошла она, когда он жил в Париже и, кроме многих прочих занятий, находил время для гальванических экспериментов. Однажды вечером, устав от довольно безрезультатных опытов, он оставил своих лягушек и кроликов

отдыхать от сотрясавших их непонятных ударов, а сам отправился в театр Порт-Сан-Мартэн, где шла мелодрама, которую он видел уже несколько раз, – привлекала его не искусно построенная пьеса двух авторов, но актриса, которая в последнем акте поражала кинжалом своего возлюбленного, приняв его за злодея-герцога. Лидгейт был влюблен в эту актрису, насколько мужчина может влюбиться в женщину, с которой не намерен знакомиться. Она была родом из Прованса – черноглазая, с греческим профилем, нежным воркующим голосом и пышной величественной фигурой, красивая той красотой, что даже в юности кажется зрелой. Она приехала в Париж недавно и пользовалась безупречной репутацией – ее муж, тоже актер, играл злополучного любовника. Ее игра, хотя не бог весть какая, нравилась публике. Лидгейт, когда хотел теперь отдохнуть, шел в театр и любовался ею – так где-нибудь под благодатным небом юга он мог бы ненадолго броситься на ковер фиалок без малейшего ущерба для своих гальванических опытов, к которым предполагал вернуться по завершении спектакля. Однако на этот раз старая драма закончилась подлинной трагедией. В ту секунду, когда героине полагалось заколоть своего возлюбленного, а ему – изящно упасть, жена заколола мужа по-настоящему, и он упал, как падают мертвые. Пронзительный вопль огласил зал, и актриса упала в обморок. И крик и обморок требовались по ходу пьесы, но этот обморок выглядел слишком уж подлинным. Лидгейт вскочил; сам не зная как, взобрался на сцену и познакомился со своей героиней, осторожно приподняв ее и убедившись, что она сильно ушибла голову. На другой день весь Париж ни о чем другом не говорил, решая, было ли это убийством или нет. Некоторые из наиболее жарких поклонников актрисы были склонны поверить в ее виновность и только еще больше восхищались своим кумиром (таковы были вкусы в те времена), однако Лидгейт к ним не принадлежал. Он негодуяще доказывал, что все произошло случайно, и прежнее отвлеченное преклонение перед ее красотой теперь сменилось нежной преданностью и глубокой тревогой за ее судьбу. Убийство! Какая нелепость! Что могло ее к этому побудить? Молодые супруги, как всем было известно, обожали друг друга, а ведь подвернувшаяся нога не раз становилась причиной не менее серьезных последствий. Официальное следствие завершилось освобождением мадам Лауры. Лидгейт в это время часто с ней виделся и находил ее все более и более обворожительной. Она говорила мало, но это лишь придавало ей прелести. Она была печальна, но, казалось, испытывала к нему благодарность. Ее общество дарило тихую радость, как вечерний свет. Лидгейт жаждал завоевать ее любовь и ревниво опасался, что какой-нибудь другой соперник успеет опередить его и поведет ее к алтарю. Но мадам Лаура не возобновила своего ангажемента в Порт-Сан-Мартэне, где ее популярность только возросла бы из-за недавней трагедии, и внезапно исчезла из Парижа, без предупреждения покинув кружок преданных своих поклонников. Вероятно, никто особенно ее не разыскивал, за исключением Лидгейта, который позабыл про науку, воображая, как несчастная Лаура, изнемогающая под бременем бесконечной печали, скитается где-то одна, без верного утешителя. Однако найти пропавшую актрису много легче, чем какую-нибудь научную истину, и вскоре Лидгейту удалось узнать, что Лаура уехала по Лионской дороге. В конце концов он отыскал ее в Авиньоне – она с большим успехом играла под прежней фамилией и выглядела особенно величественной в роли покинутой жены, прижимающей к сердцу свое дитя. После конца спектакля он явился к ней, был принят с обычной тихой безмятежностью, которая казалась ему прекрасной, как прозрачные глубины реки, и просил разрешения побывать у нее на следующий день, намереваясь открыть ей свою любовь и просить ее руки. Он понимал, что порыв этот безумен и противоречит всему, к чему он стремился прежде. Но что из того! Его решение твердо. По-видимому, в нем живут две натуры, и им следует приспособиться друг к другу и научиться терпеливо сносить взаимные помехи. Странно, как те из нас, кто умеет смотреть на себя со стороны, способны проницать взглядом за туман наших увлечений и в то время, как мы безумствуем на вершинах, увидеть далеко внизу широкую равнину, где нас упрямо поджидает наша вторая натура.

Говорить с Лаурой иначе, чем с благоговейной нежностью, значило бы пойти наперекор своему чувству к ней.

– И вы отправились из Парижа в такую даль, только чтобы найти меня? – спросила она на следующий день, сидя перед ним со скрещенными на груди руками и обратив на него взор, полный задумчивого недоумения, какое прячется в глазах пасущейся на лугу дикой коровы. – Неужели все англичане такие?

– Я приехал, потому что должен был вас увидеть. Вы одиноки. Я люблю вас и хочу, чтобы вы дали согласие стать моей женой. Я готов ждать, но обещайте мне, что выйдете замуж за меня, и ни за кого другого.

Лаура молча, со светлой грустью смотрела на него из-под полуопущенных век, и в восторге, не сомневаясь в ее согласии, он опустился на колени возле нее.

– Я хочу вам кое-что сказать, – произнесла она своим воркующим голосом, по-прежнему держа руки скрещенными на груди. – Нога у меня тогда и правда подвернулась.

– Я знаю, знаю! – с упреком воскликнул Лидгейт. – Это была трагическая случайность, роковой удар судьбы, который только укрепил мою любовь к вам.

Лаура вновь помолчала, а затем медленно сказала:

– *Я хотела это сделать.*

Несмотря на всю свою душевную силу и твердость, Лидгейт смертельно побледнел и содрогнулся. Прошло несколько мгновений, прежде чем он поднялся с коленей и отступил от нее.

– Тут кроется тайна, – воскликнул он наконец с каким-то исступлением. – Он был жесток с вами, вы ненавидели его.

– Нет. Он надоел мне, он досаждал мне нежностями и хотел, чтобы мы жили в Париже, а не в моих родных краях, как хотела я.

– Боже великий! – вскричал Лидгейт со стоном ужаса. – И вы задумали его убить?

– Я ничего не задумывала. Просто во время спектакля я поняла, что *хочу это сделать*.

Лидгейт окаменел. Он машинально надел шляпу, не сводя глаз с женщины, которой отдал первый пыл своего юного сердца. Она представлялась ему стоящей среди толпы тупых преступников.

– Вы очень милый молодой человек, – сказала она. – Но с меня довольно. Второй раз я замуж не пойду.

Три дня спустя Лидгейт вновь занимался гальванизмом в своей парижской квартире, уверенный, что пора иллюзий для него миновала навсегда. Он не ожесточился – от этого его спасли сердечная доброта и вера в возможность улучшить человеческую жизнь. Но теперь, когда его убеждения прошли проверку опытом, он будет всецело полагаться на них и рассматривать женщин с чисто научной точки зрения, не питая никаких необоснованных надежд.

В Мидлмарче прошлое Лидгейта, кратко тут обрисованное, никому известно быть не могло, и почтенные обыватели, подобно большинству смертных, нисколько не стремились точно представить себе то, что прямо их не касалось. Не только юные девы этого города, но и седобородые мужи, торопясь найти в своих планах место для нового знакомого, удовлетворялись самыми приблизительными представлениями о том, каким образом жизнь подготовила его для выполнения потребной им роли. Короче говоря, Мидлмарч намеревался спокойно проглотить Лидгейта и без малейших затруднений его переварить.

Глава XVI

*Прелесть женщин всех вмещает
Каждая твоя черта.
Нас ведь в женщинах пленяет
Красота и доброта.*

Чарльз Седли

Обитателей Мидлмарча весьма занимал вопрос, получит ли мистер Тайк должность платного капеллана в новой больнице, и Лидгейт, выслушивая различные мнения, получил некоторое понятие о том, каким влиянием пользовался в городе мистер Булстрод. Банкир, несомненно, обладал значительной властью, однако ему противостояла не такая уж маленькая партия, и даже некоторые его сторонники давали понять, что оказывают ему поддержку только из практических соображений: что поделаешь – так уж устроен мир, а когда занимаешься коммерцией, тем более приходится кадить и дьяволу.

Власть мистера Булстрода объяснялась не только тем, что он, как банкир, знал финансовые секреты большинства промышленников и коммерсантов города и мог воздействовать на источники их кредита; она подкреплялась благотворительностью, одновременно щедрой и требовательной – щедрой на помощь, которая обязывала, и требовательной к тем, кто эту помощь получал. Он не жалел хлопот, чтобы устроить Тэгга, сына башмачника, подмастерьем к хорошему хозяину, но потом строго следил, усердно ли Тэгг посещает церковь; он защищал миссис Страйп, прачку, от Стабба, противуправно взыскивавшего с нее плату за место, где она сушила белье, и сам расследовал, насколько справедлива сплетня, чернящая миссис Страйп. Он часто ссужал небольшие суммы из собственного кармана, но не прежде, чем наводил подробные справки обо всех обстоятельствах своего должника, за которым затем продолжал внимательно следить. Таким образом человек приобретает не только благодарность своих близких, но и владычество над их страхами и надеждами. А подобная власть растет, питаясь сама собой, и вскоре становится непропорционально большой по сравнению со средствами, которыми она располагает. Мистер Булстрод стремился приобрести как можно больше власти во имя самых высоких принципов – чтобы употребить ее к вящей славе Божьей. Он выдерживал немалую внутреннюю борьбу и долго вел споры с собой, пока не убедился в чистоте собственных побуждений и не разобрался в том, чего требует слава Божья. Но, как мы уже видели, другие люди истолковывали его побуждения не всегда правильно. В Мидлмарче было немало грубых умов, способных взвешивать на своих мысленных весах только предметы, сваленные в одну кучу, и они сильно подозревали, что мистер Булстрод, раз он не наслаждается жизнью на их манер, а ест и пьет весьма умеренно и без конца о чем-нибудь хлопочет, должен, подобно вампиру, упиваться ощущением власти.

Разговор о назначении капеллана зашел и за столом мистера Винси, когда там обедал Лидгейт, и, как он заметил, свойство с мистером Булстродам не стесняло свободы выражений даже самого хозяина, хотя его доводы сводились только к тому, что проповеди мистера Тайка очень уж сухи, а проповеди мистера Фербратера, которые он предпочитал, свободны от этого недостатка. Мистер Винси не имел ничего против того, чтобы капеллану платили жалованье – при условии, что капелланом станет мистер Фербратер, превосходнейший малый, отличный проповедник, да к тому же на редкость обходительный.

– Так какой же линии думаете вы придерживаться? – осведомился мистер Чичли, следственный судья, большой приятель мистера Винси и такой же любитель скачек.

– Я только радуюсь, что больше не вхожу в число директоров. Я подам голос за то, чтобы дело было передано на усмотрение директоров и медицинского совета. Я переложу свою ответственность на ваши плечи, доктор, – сказал мистер Винси, взглянув сперва на доктора Спрэга, старшего городского врача, а затем на Лидгейта, сидевшего напротив. – Вам, господа лекари, придется провести консультацию; какое черное питье вы пропишете, э, мистер Лидгейт?

– Мне почти ничего не известно ни о том, ни о другом, – ответил Лидгейт. – Но, говоря вообще, назначения слишком часто становятся делом личных симпатий. А ведь наилучший кандидат на ту или иную должность – вовсе не обязательно самый приятный или самый обходительный человек. Порой, для того чтобы произвести необходимые реформы, есть только один способ: отправить на пенсию приятных людей, которых все любят, и избавиться от них.

Доктор Спрэг, считавшийся наиболее «солидным» врачом, хотя доктор Минчин слыл самым «проницательным», согнал со своего крупного обрюзглого лица всякое выражение и, пока Лидгейт говорил, внимательно рассматривал вино в рюмке. В этом молодом человеке было много странного и подозрительного – например, щеголяние иностранными идеями, а также склонность ворошить то, что давно было решено и забыто людьми постарше и поопытнее. И разумеется, все это не могло нравиться эскулапу, чье положение было упрочено тридцать лет назад трактатом о менингите – трактатом, по меньшей мере один экземпляр которого с пометкой «собственный» был переплетен в телячью кожу. Со своей стороны, я не могу не посочувствовать доктору Спрэгу: наше самодовольство – это наша собственность, не облагаемая налогом, и очень неприятно вдруг обнаружить, что она обесценилась.

Впрочем, слова Лидгейта пришлись не по вкусу и всему обществу. Мистер Винси сказал, что, будь его воля, ни один неприятный человек никакой должности не получил бы.

– Черт бы побрал ваши реформы! – объявил мистер Чичли. – Чистейшей воды надувательство. Что ни реформа, то фокус-покус, чтобы протащить новых людей. Надеюсь, вы все-таки не согласны с «Ланцетом», мистер Лидгейт, и не желаете, чтобы судебное следствие было изъято из ведения юристов? Ваши слова как будто указывают именно на это.

– Я не одобряю Уэкли, – перебил доктор Спрэг. – Весьма не одобряю. Интриган, который готов принести в жертву респектабельность профессии, опирающуюся, как всем известно, на лондонские колледжи, – и ради того лишь, чтобы добиться известности для себя. Есть люди, которые согласны, чтобы их ногами пинали, только бы стать предметом разговоров. Однако Уэкли бывает и прав, – добавил доктор задумчиво. – Я мог бы назвать один-два вопроса, где Уэкли прав.

– Ну-ну, – заметил мистер Чичли. – Впрочем, стоять за честь мундира, по-моему, похвально. Но если вернуться к нашему вопросу, хотел бы я знать, как сможет следственный судья оценивать данные по делу, если он не получил юридического образования?

– На мой взгляд, – сказал Лидгейт, – юридическое образование не дает человеку компетентности в делах, требующих знаний иного рода. Люди говорят о данных по делу так, словно их действительно можно взвесить на весах слепой богини правосудия. Никто не способен решить, какие данные в каждом конкретном случае основательны, а какие нет, если у него нет знаний, специально для этого случая подходящих. При вскрытии от юриста толку не больше, чем от деревенской старухи. Что он знает о действии ядов? С тем же успехом можно утверждать, что, научившись строить речь по правилам риторики, вы тем самым научились строить дома.

– Полагаю, вам известно, что следственный судья не проводит вскрытия, а лишь получает сведения от свидетеля-медика? – пренебрежительно бросил мистер Чичли.

– Который в невежестве подчас не уступает следственному судье, – сказал Лидгейт. – Вопросы судебной медицины нельзя оставлять на волю случая, в надежде, что свидетель-медик окажется достаточно компетентным; а следственным судьей не должен быть человек, который

поверит, будто стрихнин разрушает внутренние оболочки желудка, если так ему заявит невежественный лекарь.

Увлечшись, Лидгейт совсем упустил из вида тот факт, что мистер Чичли был следственным судьей его величества, и простодушно завершил свою тираду вопросом:

– Вы согласны со мной, доктор Спрэг?

– До известной степени, если иметь в виду густонаселенные области и столицу, – ответил почтенный доктор. – Однако я от души надеюсь, что наши края еще очень нескоро лишатся услуг моего друга Чичли, даже если на смену ему придет самый выдающийся член нашей профессии. И полагаю, Винси со мной согласится.

– Конечно, конечно! Если следственный судья разбирается в лошадях, так чего еще надо? – шутливо воскликнул мистер Винси. – И на мой взгляд, с юристом дело будет вернее. Всего ведь никто знать не может. Господь судит – Господь и карает. Что до отравлений, так тут достаточно знать законы. А теперь не присоединиться ли нам к дамам?

Лидгейт про себя решил, что мистер Чичли был именно таким следственным судьей, который не придерживается никакого мнения относительно внутренних оболочек желудка, но пример этот он привел, не думая о личностях. Однако, вращаясь в лучшем мидлмарчском обществе, благоразумнее было не требовать специальных знаний от тех, кто занимал те или иные должности, получая за это солидное жалованье. Фред Винси как-то назвал Лидгейта педантом, а мистер Чичли с удовольствием назвал бы его нахалом, особенно когда в гостиной он всецело завладел вниманием Розамонды, – такой tête-à-tête оказался возможен, потому что за чайным столиком председательствовала миссис Винси. Она не уступала дочери ни одной из обязанностей хозяйки дома, и ее цветущее добродушное лицо под розовыми лентами, завязанными пышным бантом у красивой шеи, и ее веселая шутливость в обращении с мужем и детьми, несомненно, делали дом Винси особенно привлекательным для гостей и помогали влюбиться в ее старшую дочь. Оттенок легкой безобидной вульгарности в манерах миссис Винси выгодно оттенял утонченность Розамонды, намного превосшедшую ожидания Лидгейта.

Несомненно, маленькие ножки и красивые плечи придают манерам дополнительную утонченность, а уместные высказывания кажутся особенно уместными, когда их сопровождают пленительные движения безупречных губок и ресниц. Розамонда же умела говорить уместные вещи, потому что была умна в той мере, какая позволяет улавливать любой тон, кроме юмористического. К счастью, она никогда не пробовала шутить, и, пожалуй, это было наилучшим доказательством ее ума.

Разговор между ней и Лидгейтом завязался без всякого труда. Он выразил сожаление, что в тот день в Стоун-Корте ему не удалось послушать ее пения. Единственное удовольствие, которое он позволял себе под конец своих занятий в Париже, было посещение концертов.

– Вы, наверное, учились музыке? – спросила Розамонда.

– Нет. Я различаю песни птиц и знаю на слух много мелодий, но настоящая музыка, в которой я вовсе не осведомлен, волнует меня, дает мне радость. Как глуп свет! Такое наслаждение доступно каждому, а им столь редко пользуются!

– Да, и особенно в Мидлмарче. Тут почти никто не умеет музицировать. И я знаю только двух джентльменов, которые поют более или менее сносно.

– Полагаю, тут принято петь комические куплеты речитативом, предоставляя слушателям воображать мелодию – словно ее отбивают на барабане.

– А, так вы слышали мистера Боуера! – заметила Розамонда с одной из своих редких улыбок. – Но мы позволяем себе дурно говорить о наших ближних.

Лидгейт чуть было не позабыл о своей обязанности поддерживать беседу, залюбовавшись этим обворожительным созданием: платье Розамонды было точно соткано из нежной небесной голубизны, а сама она, казалось, во всей своей белокурой прелести только что вышла из какого-то огромного цветка. И в то же время эта почти младенческая белокурость сочеталась

с уверенной отточенной грацией. Воспоминания о Лауре излечили Лидгейта от пристрастия к большеглазой молчаливости – божественная корова уже не влекла его, а Розамонда была ее полной противоположностью. Спohватившись, он поспешил сказать:

– Надеюсь, вы доставите мне сегодня удовольствие услышать ваше пение?

– Мои ученические попытки, хотите вы сказать? Да, если вам угодно. Папа, конечно, потребует, чтобы я спела. Но, признаюсь, мне будет страшно, ведь вы слышали лучших певиц Парижа. А я не слышала почти никого – мне всего раз довелось побывать в Лондоне. Однако органист нашей церкви – церкви Святого Петра – превосходный музыкант, и я продолжаю брать у него уроки.

– Расскажите мне, что вы видели в Лондоне.

– Очень мало. – (Более наивная девушка сказала бы: «Ах, решительно все!») – но Розамонда этой ошибки не совершила.) – Только те достопримечательности, которые принято показывать невежественным провинциальным простушам.

– Неужели вы серьезно считаете себя невежественной провинциальной простушкой? – воскликнул Лидгейт, бросив на нее восхищенный взгляд, который вызвал на ее щеках румянец удовольствия. Однако она сохранила прежнюю безыскусственную серьезность и, слегка изогнув красивую шею, чуть поправила свои удивительные волосы – ее обычный жест, столь же изящный, как движение кошачьей лапки. Но Розамонда вовсе не походила на кошечку – она была сильфидой, которую изловили совсем юной и отдали на воспитание в пансион миссис Лемон.

– Поверьте, мой ум совсем необразован, – сказала она. – Для Мидлмарча он вполне годится, и я не боюсь разговаривать с нашими старинными знакомыми. Но вас я правда боюсь.

– Богато одаренная женщина почти всегда знает больше, чем мы, мужчины, хотя ее знания и иного порядка. Я убежден, что вы могли бы научить меня тысяче самых восхитительных вещей – как могла бы многому обучить медведя прелестная птичка, если бы они обладали общим языком. К счастью, у мужчин и женщин такой язык есть, и медведей все-таки можно обучать.

– А, Фред забренчал! Я должна пойти туда, чтобы он перестал терзать ваши нервы, – сказала Розамонда и направилась к фортепьяно. Фред открыл его потому, что мистер Винси пожелал, чтобы Розамонда что-нибудь сыграла гостям, но, воспользовавшись случаем, принялся сам наигрывать одной рукой «Спелые вишни». (Способные люди, блистательно сдавшие экзамены, нередко предаются этому занятию с не меньшим увлечением, чем провалившийся Фред.)

– Фред, будь так добр, отложи свои упражнения до завтра, иначе мистеру Лидгейту может стать дурно, – сказала Розамонда. – У него есть музыкальный слух.

Фред засмеялся, но доиграл мелодию до конца.

Розамонда обернулась к Лидгейту.

– Как видите, медведи не всегда поддаются обучению, – заметила она с легкой улыбкой.

– Садись же, Роза! – скомандовал Фред, предвкушая удовольствие. Он вскочил с табурета и выкрутил его, чтобы ей было удобно. – Начни с чего-нибудь забористого.

Розамонда играла превосходно. Ее учитель в пансионе миссис Лемон (находившемся вблизи старинного городка, от прежде славной истории которого сохранились лишь собор и замок) принадлежал к числу тех прекрасных музыкантов, которых порой можно встретить в нашей провинциальной глуши и которые ни в чем не уступят прославленным капельмейстерам другой страны, где гораздо легче стать музыкальной знаменитостью. Розамонда искусно переняла манеру игры своего учителя и с точностью эха воспроизводила его величавое истолкование благородной музыки. Тот, кто слышал ее в первый раз, всегда бывал невольно поражен. Из-под пальцев Розамонды словно бы лились признания самой ее души. А впрочем, так оно и было – ведь души живут среди нескончаемого эха, и за всяким чудесным отражением где-

то кроется то, что его порождает, пусть даже все ограничивается истолкованием. Лидгейт был полностью покорен и уверовал в исключительность Розамонды. В конце концов, думал он, нет смысла удивляться такому редкому сочетанию природных дарований при, казалось бы, столь неблагоприятных обстоятельствах; в любом случае дарования зависят от условий отнюдь не очевидных. Он не спускал с нее глаз, испытывая все более глубокое восхищение, а когда она кончила, не встал, как другие, и не подошел к ней, чтобы сказать какой-нибудь светский комплимент.

Пение ее не так поражало, хотя было безупречным и приятным для слуха, как гармоничный бой хорошо настроенных курантов. Правда, она пела «Приди ко мне в лучах луны» и «Я бродил», ибо смертные должны быть причастны моде своего времени и лишь древним авторам дано всегда оставаться классическими. Однако Розамонда могла бы выразительно спеть и «Черноглазую Сюзен», и канцонетту Гайдна, а также «Voi, che sapete»¹¹ или «Batti, batti»¹² — в зависимости от того, что, по ее мнению, могло понравиться слушателям.

Ее отец обводил взглядом гостей, наслаждаясь их восторгом, а мать сидела, подобно Ниобе, которую еще не постигли бедствия, и, держа на коленях младшую дочь, нежно покачивала руку девочки в такт музыке. Даже Фред, несмотря на свое скептическое отношение к Розе, слушал ее с искренним удовольствием, жалея только, что не может вот так же чаровать слушателей своей флейтой. Лидгейт со времени своего приезда в Мидлмарч еще ни разу не бывал на столь приятном семейном вечере. Винси умели радоваться, забывать про заботы и не считали жизнь юдолью скорби, а потому тон их дома был редкостью для провинциальных городов той эпохи, когда евангелизм подозрительно косился на немногие еще сохранявшиеся там развлечения, словно на источники чумной заразы. У Винси играли в вист и карточные столы были уже разложены, а потому некоторые гости с тайным нетерпением ожидали, когда Розамонда кончит петь. Однако прежде успел прийти мистер Фербратер, красивый, широкоплечий, хотя и невысокий, мужчина лет сорока в довольно ветхом сюртуке — но ум, светившийся в живых серых глазах, возмещал отсутствие внешнего лоска. Его появление словно осветило гостиную: он успел ласково пошутить с маленькой Луизой, которую мисс Морган как раз собралась увести, дружески перездоровался со всеми и, казалось, за десять минут сумел сказать больше, чем было сказано за весь вечер. Лидгейту он напомнил об обещании побывать у него:

— И я не позволю вам уклониться, потому что хочу, чтобы вы посмотрели моих жуков. Мы, коллекционеры, не даем покоя новым знакомым, пока не покажем им все, что у нас есть.

Затем он направился к карточному столику, потирая руки со словами:

— Ну-ну, займемся серьезным делом. Мистер Лидгейт? Ах, вы не играете? Да, конечно, вы еще слишком молоды и легкомысленны.

Лидгейт пришел к выводу, что этот священник, чьи таланты столь огорчали мистера Булстрода, по-видимому, привык отдыхать душой в этом, бесспорно, не слишком ученом доме. Пожалуй, его можно понять: добродушие, приятная внешность и старых и молодых, а также развлечения, позволяющие коротать время без напряжения умственных способностей, конечно, должны привлекать сюда тех, кто не знает, на что употребить свой досуг.

У всех тут был здоровый и цветущий вид, не считая лишь мисс Морган, которая была бесцветна, скучна и полна покорности судьбе — то есть, как часто повторяла мисс Винси, самой судьбой предназначалась в гувернантки. Впрочем, Лидгейт не собирался бывать здесь часто — ему было жаль вечеров, пропадающих впустую, и теперь он решил, что еще немного поболтает с Розамондой и откланяется.

¹¹ «Вы, те, кто знает» (*ит.*).

¹² «Хлопай, хлопай» (*ит.*).

– Конечно, мы, обитатели Мидлмарча, вряд ли вам понравимся, – сказала Розамонда, когда партии в вист были составлены. – Мы так необразованны, а вы привыкли к совершенно иному.

– Мне кажется, провинциальные города все одинаковы, – ответил Лидгейт. – Но я давно замечал, что родной город всегда кажется хуже других. Я намерен принимать Мидлмарч таким, каков он есть. Тем более что я никак не ожидал найти в нем столько очарования.

– Если вы имеете в виду живописные дороги, ведущие в Типтон и Лоуик, то они действительно всем очень нравятся, – наивно сказала Розамонда.

– Нет, то, что я имел в виду, находится не столь далеко отсюда.

Розамонда встала, поправила сетку на своих волосах и спросила:

– Скажите, вы танцуете? Я, право, не знаю, танцуют ли серьезные люди.

– Я готов танцевать, если вы согласитесь быть моей дамой.

– Ах! – сказала Розамонда и засмеялась с легким упреком. – Я ведь собиралась просто сказать, что иногда у нас бывают танцы, и спросить, не будете ли вы оскорблены, если мы пришлем вам приглашение.

– При указанном мною условии – нет, не буду.

После этого разговора Лидгейт совсем уж собрался уйти, однако задержался у карточного стола, с интересом наблюдая за мастерской игрой мистера Фербратера и за его лицом, в котором удивительно сочетались пронизательность и мягкость. В десять часов подали ужин (так было заведено в Мидлмарче), а также пунш. Впрочем, мистер Фербратер выпил только стакан воды. Он выиграл роббер, но тут же начался новый, и Лидгейт наконец простился и ушел.

Так как еще не было одиннадцати, он, вдыхая бодрящий ночной воздух, направился к церкви Св. Ботольфа, где служил мистер Фербратер, – ее массивная квадратная башня вырисовывалась на звездном небе четким черным силуэтом. Это была самая старая церковь города, однако ее священник получал не десятину, а только жалованье – всего четыреста фунтов в год. Лидгейт знал об этом и прикинул, смотрит ли мистер Фербратер на вист и на свой выигрыш только как на развлечение. «Он кажется очень приятным человеком, – подумалось ему, – но, возможно, у Булстрода есть какие-нибудь веские причины». Если бы оказалось, что мистер Булстрод обыкновенно бывал прав, для Лидгейта многое стало бы гораздо легче. «Какое мне дело до его религиозных убеждений, если они внушают ему здравые идеи? Надо применяться к тому, что есть, а не искать невозможного».

Вот о чем размышлял Лидгейт, покинув дом мистера Винси, и, боюсь, после этого многие читательницы сочтут его недостойным своего внимания. О Розамонде и ее игре он вспомнил, только когда перестал думать о мистере Булстроде, и, хотя ее образ витал перед ним до конца прогулки, он не испытывал никакого волнения и не ощущал, что в его жизни произошла хотя бы малейшая перемена. Он пока еще не мог жениться и даже мысль об этом откладывал на будущее, а потому не собирался влюбляться хотя бы и в самую очаровательную девушку. Розамонда казалась ему очаровательной, но он не сомневался, что ни одна красавица больше не заставит его потерять голову, как когда-то Лаура. Правда, если бы речь все-таки зашла о любви, то вряд ли можно было бы найти избранницу безопаснее мисс Винси, чей ум украсил бы любую женщину – образованный, утонченный, восприимчивый, способный постигать деликатнейшие оттенки жизни и обитающий в теле, которое настолько все это подтверждает, что иных доказательств не нужно. Лидгейт почувствовал, что его жена – если он когда-нибудь женится – будет наделена такой же мягкой лучезарностью, такой же женственностью, родственной цветам и музыке, такой же красотой, которая по самой природе своей добродетельна, потому что создана лишь для чистых и возвышенных радостей.

Но в ближайшие пять лет он жениться не собирался, а пока у него было более неотложное дело – дома его ждала новая книга Луи о горячке, особенно интересная потому, что он был знаком с Луи в Париже, а также присутствовал на множестве анатомических демонстраций,

изучая различия между тифом и тифоидом. Он вернулся домой и читал почти до рассвета, штудировав это описание болезней с таким вниманием к подробностям и с такой критичностью, какие не считал нужным тратить на размышления о любви и браке, поскольку полагал, что вполне достаточно тут осведомлен благодаря романам и вековой мудрости, которую мужчины из поколения в поколение передают друг другу в дружеских разговорах. Тогда как в горячке было много таинственного: она давала обильную пищу воображению и увлекательную работу дисциплинированному уму, далекому от прихотливых фантазий, – он сопоставлял и строил предположения, ясным взглядом охватывая все вероятности, исходя из уже имеющихся знаний, а затем в деятельном союзе с беспристрастной Природой придумывал испытания, дабы проверять ее же творения.

Многих людей восхваляли за живость воображения на том лишь основании, что они в больших количествах создавали посредственные картины либо скверную прозу: изложения пустых разговоров, ведущихся на дальних планетах, или портреты Люцифера в виде уродливого великана, отправляющегося творить свои скверные дела на крыльях летучей мыши среди клубов фосфорического сияния, или же преувеличения мерзостей, которые преобразуют жизнь в болезненный бред. Однако Лидгейту такого рода вдохновение представлялось пошлым и бессмысленным, особенно в сравнении с воображением, которое постигает тончайшие процессы, недоступные никаким увеличительным стеклам, прослеживая их в непроглядной тьме по длинным цепям причин и следствий с помощью внутреннего света, представляющего собой высшее напряжение энергии и способного озарить своим совершенным сиянием даже атомы эфира. Сам он презрительно отбрасывал прочь дешевые выдумки, которыми тешился ленивое невежество, – его властно влекла та пылкая работа мысли, которая лежит в самой основе научных исследований либо помогает заранее обрисовать их цель, а затем уточняет и выверяет способы ее достижения. Он стремился проникнуть в тайну тех скрытых процессов, из которых рождаются человеческие радости и горести, развеять мрак, скрывающий те невидимые пути, на которых таятся душевные страдания, безумие и преступления, те тонкие механизмы, которые определяют развитие счастливого или несчастного характера.

И когда Лидгейт наконец отложил книгу, вытянул ноги к тлеющим углям в камине и закинул руки за голову, испытывая то приятное расслабление, которое наступает после напряженного труда, потому что мысль уже не стремится к постижению одного определенного предмета, а неторопливо отдыхает в единении со всем нашим существом, словно пловец, перевернувшийся на спину и отдающийся на волю течения в спокойствии нерастраченных сил, он ощутил торжествующую радость и что-то вроде жалости к тем злополучным неудачникам, которые не принадлежали к его профессии.

«Если бы тогда, в детстве, я не сделал этого выбора, – думал он, – то, возможно, тянул бы теперь какую-нибудь дурацкую лямку и ничего не видел бы вокруг себя. Я был бы несчастен, занимаясь делом, которое не требовало бы от меня напряжения всех моих умственных сил и не держало бы меня в постоянном живом соприкосновении с другими людьми. Тут медицина ни с чем не сравнится – она открывает передо мной безграничные просторы науки и позволяет облегчать участь стариков в приходской богадельне. Священникам сочетать то и другое куда труднее, и Фербратер как будто составляет исключение». Тут его мысли вновь обратились к семейству Винси, и в памяти всплыли подробности прошлого вечера. Перебирая их в уме, Лидгейт не испытывал ничего, кроме удовольствия, и, когда, взяв свечу, он направился к себе в спальню, на его губах играла легкая улыбка, обычно сопровождающая приятные воспоминания. Он был наделен пылкой натурой, но пока отдавал этот пыл любимой науке и честолюбивому желанию всей своей жизнью внести признанный вклад в улучшение жизни человечества – подобно другим героям науки, которые начинали простыми врачами в деревенской глуши.

Бедный Лидгейт! Или мне следует сказать: бедная Розамонда! У каждого из них был свой мир, о котором другой не имел ни малейшего представления. Лидгейту и в голову не прихо-

дило, что на нем сейчас сосредоточены все помыслы Розамонды, у которой не было ни причин считать свое замужество делом далекого будущего, ни научных занятий, способных отвлечь ее от мысленного повторения каждого взгляда, слова и фразы, что занимает столько места в жизни большинства девушек. Он полагал, что смотрит на нее и говорит с ней лишь с той долей естественного восхищения, которое красивая девушка не может не внушить каждому мужчине. Он даже был уверен, что почти не выдал удовольствия, которое доставила ему ее игра, опасаясь, как бы его удивление не показалось невежливым, словно он не ждал от нее подобного совершенства. Однако Розамонда заметила и запомнила каждое его слово и каждый взгляд, считая их завязкой романа, который предвидела заранее, – завязкой, обретшей достоверность благодаря мысленно уже пережитым кульминации и развязке. Роман, сочинявшийся Розамондой, не требовал обрисовки ни внутренней жизни героя, ни занятий, которым он посвятил жизнь. Разумеется, он был не только красив, но также умен и достаточно богат, однако самым главным достоинством Лидгейта было благородное происхождение, отличавшее его от всех мидлмарчских ее поклонников, – брак с ним означал более высокое положение в обществе, а может быть, и доступ в тот земной рай, где она избавится от всех вульгарных знакомых и вступит в круг новой родни, ни в чем не уступающей местным помещикам, которые смотрят сверху вниз на обитателей Мидлмарча. Особый склад ума Розамонды позволял ей улавливать тончайшие оттенки светских различий: однажды ей довелось увидеть барышень Брук, которые сопровождали дядю, приехавшего на судебную сессию, и сидели на местах, отведенных для аристократии, – и она позавидовала им, хотя одеты они были очень просто и скромно.

Если вам покажется невероятным, что мысли о семейных связях Лидгейта могли вызвать в душе Розамонды сладкое волнение, которое она воспринимала как знак своей в него влюбленности, то я воззову к вашей наблюдательности и спрошу, не замечали ли вы того же свойства за красным мундиром и эполетами? Наши чувства не живут раздельно в запертых кельях, но, облаченные в одежды из собственных понятий, сходятся к общему столу со своими кушаньями и угощаются из общих запасов в соответствии с аппетитом каждого.

Розамонда, собственно говоря, была поглощена не столько самим Тertiем Лидгейтом, сколько его отношением к ней, – и девушке, привыкшей слышать, что все молодые люди должны обязательно и неизбежно влюбиться в нее, если уже не влюбились, следует простить уверенность, будто Лидгейт не может составить исключения. Его взоры и слова значили для нее больше, чем взоры и слова других мужчин, потому что больше ее интересовали, – она тщательно их обдумывала и столь же тщательно следила за совершенством своего облика, манер, разговора и прочих чар, которые Лидгейт, несомненно, сумеет оценить более глубоко, чем прежние ее поклонники.

Ибо Розамонда, хотя она никогда не делала того, что ей не нравилось, была прилежна и теперь с особым усердием писала акварелью пейзажи, рыночные повозки и портреты приятельниц, упражнялась на фортепьяно и с утра до вечера вела себя в точном согласии со своими представлениями о том, какой должна быть истинная леди, старательно играя эту роль перед самой собой, а иногда с еще большим удовольствием и перед посторонними зрителями, то есть перед знакомыми, когда они приезжали с визитом. Она находила время читать самые лучшие романы, а также и не самые лучшие, и знала наизусть множество стихов. Любимым своим поэтическим произведением она назвала бы «Лалла-Рук».

«Лучшая девушка в мире. Тот, кому она достанется, может считать себя редким счастливецом!» – утверждали пожилые джентльмены, бывавшие у Винси, а отвергнутые молодые поклонники решали попробовать еще раз, как это принято в провинциальных городах, где возможных соперников не так уж много. Однако миссис Плимдейл полагала, что Розамонда напрасно совершенствовалась в своих светских талантах: какой от них толк, если она, выйдя замуж, все это оставит? А ее тетка Булстрод, питавшая к семье брата истинно родственную

привязанность, от души желала Розамонде двух вещей: обрести более серьезный взгляд на мир и найти мужа, чье богатство отвечало бы ее притязаниям.

Глава XVII

*Она красавицей слыла,
Но бесприданницей была
И старой девой умерла.*

Преподобный Кэмден Фербратер, в гости к которому Лидгейт отправился на следующий день, жил в старом каменном доме при церкви, почти столь же древнего вида, как и она сама. Старой была и мебель, хотя восходила она всего лишь к временам отца мистера Фербратера и его деда. Выкрашенные белой краской стулья с позолотой и веночками, занавески из обветшавшего, когда-то красного дамаска, гравированные портреты лордов-канцлеров и других именитых законовевов прошлого столетия, отражавшиеся в старомодных стенных зеркалах, светлые полированные столики и кушетки, больше всего похожие на растянутые и отнюдь не покойные кресла, – фоном же всему этому служили потемневшие от времени дубовые панели. Так выглядела гостиная, куда ввели мистера Лидгейта и где его приняли три дамы, столь же старомодные, столь же поблекшие и столь же почтенные: миссис Фербратер, седовласая матушка священника, еще не достигшая семидесяти лет, с живыми глазами и прямой спиной, выглядевшая очень изящной в свежем платье со множеством оборок и в нарядной шали; мисс Ноубл, ее сестра, крохотная кроткая старушка, чьи оборки и шаль были гораздо более поношены, а кое-где и подштопаны; и наконец, мисс Уинифред Фербратер, старшая сестра священника, похожая на него и еще довольно красивая, но замкнутая в себе и робкая, какими обычно бывают одинокие женщины, которые всю жизнь подчиняются старшим родственникам. Лидгейт не ожидал увидеть этот женский кружок. Зная только, что мистер Фербратер холост, он предполагал, что будет принят в кабинете среди книжных шкафов и ящичков с коллекциями. И сам священник выглядел несколько иным – явление довольно обычное, когда впервые видишь недавнего знакомого в домашней обстановке. В подобных случаях порой кажется, что актеру на амплу добродушных резонеров вдруг поручили роль ворчливого скупца. Впрочем, к мистеру Фербратеру это не относилось. Просто его кротость стала еще заметнее, а разговорчивость сменилась молчаливостью – говорила главным образом его мать, а он лишь изредка добродушно вставлял слово-другое, чтобы смягчить ее категоричность. Старушка, несомненно, привыкла предписывать своим собеседникам, что им следует думать, и считала, что без ее помощи они не сумеют правильно разобраться ни в одном предмете. От исполнения этой взятой на себя обязанности ее ничто не отвлекало, так как мисс Уинифред заботливо предупреждала всякое ее желание. Тем временем маленькая мисс Ноубл словно нечаянно уронила кусок сахара себе на блюдце и тут же тихонько опустила его в корзиночку, висевшую у нее на руке, боязливо оглянулась и поднесла к губам чашку, что-то пискнув, как испуганный зверек. Прошу вас, не думайте дурно о мисс Ноубл. В корзиночку попадали лакомства, которых она лишала себя, чтобы оделять ими детишек окрестных бедняков, когда навещала их по утрам в хорошую погоду. Она получала такое удовольствие, если могла приглубить и побаловать какое-нибудь живое существо, что ей казалось, будто это порок, пусть и приятный. А может быть, она постоянно испытывала искушение украсть у тех, кто имел все в избытке, чтобы помочь тем, у кого не было ничего, и это подавляемое желание тяжелым бременем ложилось на ее совесть. Давать – это роскошь, доступная только тем, кто беден.

Миссис Фербратер приветствовала гостя с любезностью, в которой, однако, было больше живости, чем церемонности. Она почти сразу же сообщила ему, что у них в доме редко требуется помощь врача. Она приучила своих детей носить теплое белье и соблюдать умеренность в

еде, – по ее мнению, главной причиной всех болезней была неумеренность в еде. Лидгейт было вступился за тех, чьи родители любили плотно поесть, но миссис Фербратер сочла такую точку зрения опасной и порочащей Природу: эдак каждый преступник начнет требовать, чтобы вместо него повесили его предков. Если дети негодяев сами становятся негодьями, то их и надо вешать, а не пускаться в рассуждения неизвестно о чем.

– Матушка, как Георг Третий, возражает против метафизики, – сказал священник.

– Я, Кэмден, возражаю против того, что неверно. Достаточно помнить несколько простых истин и все с ними согласовывать. В дни моей молодости, мистер Лидгейт, ни у кого не было никаких сомнений, что хорошо, а что дурно. Мы учили катехизис, и ничего больше не требовалось, мы знали Символ веры и свои обязанности. Между священнослужителями не было никаких духовных разногласий. А теперь вам будут возражать, даже если вы прямо читаете из молитвенника.

– Довольно приятная эпоха для тех, кто любит придерживаться собственной точки зрения, – заметил Лидгейт.

– Но матушка всегда готова уступить, – лукаво вставил священник.

– Нет, нет, Кэмден, не вводи мистера Лидгейта в заблуждение. Я никогда не дойду до такого неуважения к моим родителям, чтобы отречься от того, чему они меня учили. И всем известно, к чему приводит перемена взглядов. Если один раз, то почему не двадцать!

– Человек может согласиться с убедительными доводами и переменить точку зрения, а потом твердо ее придерживаться, – сказал Лидгейт, которого забавляла решительность старушки.

– Нет, простите! Доводов всегда можно набрать сколько угодно, если человек непостоянен в своих взглядах. Мой отец никогда их не менял, и проповеди его были простыми и поучительными без всяких доводов, а найти человека лучше его было бы трудно! Покажите мне хорошего человека, созданного из доводов, и я вместо обеда угощу вас описаниями кушаний из поваренной книги. Вот так-то! И думаю, любой желудок подтвердит мою правоту.

– В отношении обеда, матушка, подтвердит, и несомненно, – сказал мистер Фербратер.

– Обед ли, человек ли – это одно и то же. Мне под семьдесят, мистер Лидгейт, и я полагаюсь на свой опыт. Я не пойду за новыми путеводными огнями, хотя их тут не меньше, чем повсюду. Теперь словно ткнут из каких попало нитей: ни стирки не выдерживают, ни носки. В дни моей молодости все было по-другому: если человек прилежал церкви, он прилежал церкви, а священник во всяком случае был джентльменом. Теперь же священник может быть чуть ли не сектантом и оттирать моего сына в сторону, ссылаясь на доктрину. Но кто бы ни старался оттереть его, я с гордостью скажу, мистер Лидгейт, что во всей стране мало найдется равных ему проповедников, а про этот город и говорить нечего – тут быть первым похвала невелика. Во всяком случае, по моему мнению – я ведь знаю, что такое истинное благочестие.

– Кто сравнится с матерями в беспристрастности? – спросил мистер Фербратер с улыбкой. – Как по-вашему, матушка, что говорит о Тайке его мать?

– Бедняжка! А что она может сказать! – воскликнула миссис Фербратер, на мгновение утрачивая категоричность – так велика была ее вера в материнские суждения. – Уж поверь, себе она говорит правду.

– Но что именно? – осведомился Лидгейт. – Мне очень бы хотелось это знать.

– О, ничего плохого! – ответил мистер Фербратер. – Он весьма ревностный малый, не очень ученый и не очень умный, как мне кажется... ведь я с ним не согласен.

– Ты слишком снисходителен, Кэмден! – сказала мисс Уинифред. – Гриффин и его жена говорили мне сегодня, что мистер Тайк распорядился, чтобы им не давали больше угля, если они будут слушать твои проповеди.

Миссис Фербратер отложила вязанье, которое снова взяла, выпив свой чай и съев поджаренный ломтик хлеба, и пристально посмотрела на сына. «Ты слышишь?!» – словно говорил ее взгляд.

– Ах, бедные, бедные! – воскликнула мисс Ноубл, возможно имея в виду двойную утрату – угля и проповеди.

Однако священник сказал спокойно:

– Но ведь они не мои прихожане. И не думаю, что мои проповеди важнее для них, чем корзина угля.

– Мистер Лидгейт, – поспешила сказать миссис Фербратер, – вы не знаете моего сына: он ценит себя слишком низко. Я постоянно ему повторяю, что он слишком низко ценит Бога, который его создал – и создал прекрасным проповедником.

– По-видимому, матушка, мне пора увести мистера Лидгейта к себе в кабинет, – со смехом заметил священник. – Я ведь обещал показать вам мои коллекции, – добавил он, обернувшись к Лидгейту. – Так пойдемте?

Все три дамы начали возражать. Наверное, мистер Лидгейт выпьет еще чашечку чая (мисс Унифред заварила его очень много). Почему Кэмден так торопится увести гостя к себе? Там же ничего нет, кроме всяких маринованных тварей в банках да навозных мух и ночных бабочек в ящиках. Даже ковра на полу нет. Конечно, мистер Лидгейт это извинит, но все-таки... Почему бы лучше не сыграть в криббедж? Короче говоря, хотя мать, тетка и сестра мистера Фербратера считали его лучшим из людей и проповедников, они, по-видимому, полагали, что без их наставлений он никак обойтись не может. Лидгейт с бессердечием молодого холостяка подивился, почему мистер Фербратер им это спускает.

– Матушке кажется странным, что мое увлечение может быть интересно гостю, – это случается не так уж часто, – сказал священник, открывая дверь кабинета, который действительно, как и давали понять дамы, был обставлен очень скудно, без какого-либо намека на роскошь, если не считать короткой фарфоровой трубки и ящичка с табаком.

– Люди вашей профессии обычно не курят, – заметил мистер Фербратер, и Лидгейт, улыбнувшись, кивнул. – И моей тоже. Так, собственно, и следует, я полагаю. Вы еще услышите, как мне достается за эту трубку от Булстрода и компании. Они даже не представляют, в какой восторг пришел бы дьявол, откажись я от нее.

– Да, конечно. Вы вспыльчивы и нуждаетесь в успокаивающем средстве. А я флегматичнее и от курения обленился бы. Предался бы праздности и погрузился в спячку со всей моей энергией.

– А вы намерены всецело отдать ее работе. Я лет на десять – двенадцать старше вас и научился идти на компромиссы. А потому немножко потакаю некоторым своим слабостям, чтобы они не взбунтовались. Но посмотрите, – продолжал он, выдвигая несколько небольших ящичков. – По-моему, насекомые нашего края у меня представлены очень полно. Я занимаюсь и фауной и флорой, но насекомые – мой конек. Мы чрезвычайно богаты прямокрылыми. Не знаю, насколько... А! Вы смотрите на эту банку, а не на мои ящички. Вас все это не интересует?

– Нет, когда я вижу такого очаровательного анацефального уродца. У меня не было времени, чтобы по-настоящему заняться естественной историей. Строение организма – вот что занимало меня с самого начала, и это прямо связано с моей профессией. А потому у меня нет нужды в других увлечениях, передо мной и так расстилается море.

– Счастливцев! – вздохнул мистер Фербратер и, повернувшись на каблуках, принялся набивать трубку. – Вы не знаете, что значит испытывать потребность в духовном табаке, – плохие толкования древних текстов, крохотные заметки о разновидности травяной тли, подписанные звучным именем Филомикрон, для «Журнала бездельников» или же ученый трактат о насекомых в Пятикнижии, включая всех тех, которые там не упомянуты, но тем не менее могли быть встречены израильтянами во время их скитаний по пустыне. И еще монография,

посвященная взглядам Соломона на муравьев и доказывающая полное соответствие Книги Притчей и результатов современных исследований. Ничего, что я вас окурываю?

Откровенность этой речи удивила Лидгейта даже больше, чем содержащийся в ней намек на то, что мистер Фербратер предпочел бы в жизни иное занятие. Все эти специально изготовленные ящики и полки, а также книжный шкаф, набитый дорогими иллюстрированными книгами по естественной истории, навели его на мысль о том, какое применение находил священник своим карточным выигрышам. Однако ему уже хотелось, чтобы наилучшее истолкование любых действий мистера Фербратера и было бы истинным. Откровенность священника совершенно не походила на ту неприятную откровенность, какой нечистая совесть спешит предупредить чужие суждения, – просто он предпочитал, насколько мог, избегать притворства. Впрочем, мистеру Фербратеру, по-видимому, пришло в голову, что такая непринужденность могла показаться его собеседнику преждевременной. Во всяком случае, он поторопился объяснить:

– Я еще не сказал вам, мистер Лидгейт, что у меня есть некоторое преимущество перед вами: я знаю вас лучше, чем вы меня. Помните Троли, который жил в Париже на одной квартире с вами? Мы с ним переписывались, и он мне много о вас рассказывал. Когда вы только приехали, я не был уверен, действительно ли это вы. И очень обрадовался, когда так и оказалось. Но я помню, что вы познакомились со мной без подобного предисловия.

Лидгейт уловил, что слова эти продиктованы деликатностью, но она была ему не совсем понятна.

– А кстати, что случилось с Троли? – спросил он. – Я совсем потерял его из вида. Французские социальные системы его не увлекли, и он поговаривал о том, чтобы уехать в какую-нибудь дикую глушь и основать там нечто вроде пифагорейской общины. Он так и сделал?

– Ну нет! У него практика на одном из немецких курортов, и он женился на богатой пациентке.

– Значит, мои идеи были правильнее, – заметил Лидгейт с презрительным смешком. – Он утверждал, что профессия врача неотделима от обмана и шарлатанства. А я говорил, что виноваты в этом люди – те люди, которые не могут обходиться без лжи и безрассудства. Вместо того чтобы проповедовать против шарлатанства снаружи, следует произвести обеззараживание изнутри. Короче говоря, как я тогда утверждал, здравый смысл был на моей стороне.

– Однако выполнить ваш план значительно труднее, чем устроить пифагорейскую общину. Ведь вам тут противостоит не только живущий в вас ветхий Адам – против вас все потомки первого Адама, из которых состоит окружающее общество. Видите ли, познанию подобных трудностей я отдал на десять – двенадцать лет больше, чем вы. Впрочем... – Тут мистер Фербратер умолк, а затем добавил: – Вы опять рассматриваете этот сосуд. Хотите меняться? Только вам это недешево обойдется.

– У меня есть парочка заспиртованных морских ежей – прекрасные экземпляры. И я добавлю новинку Роберта Брауна «Исследование пыльцы растений под микроскопом». Конечно, если у вас еще нет этой книги.

– Ну, видя, как вам хочется получить уродца, я, пожалуй, потребую цену повыше. Что, если я попрошу вас осмотреть все мои ящики и согласиться, что мне удалось кое-что открыть? – Все это время мистер Фербратер прохаживался с трубкой во рту, то и дело нагибаясь к своим любимым ящикам. – Знаете, это было бы недурным упражнением для молодого врача, которому предстоит ублажать мидлмарчских пациентов. Вам ведь следует научиться терпеливо скучать. Впрочем, уродца берите на своих условиях.

– Не кажется ли вам, что люди преувеличивают необходимость считаться с глупыми капризами? Ведь дураки, которым они потакают, начинают их же презирать, – сказал Лидгейт, подходя к мистеру Фербратеру и рассеянным взглядом скользя по аккуратным рядам насеко-

мых и ярлычков, написанных каллиграфическим почерком. – Гораздо проще дать понять, чего вы стоите, чтобы люди считались с вами и тогда, когда вы им не льстите.

– О, безусловно! Но для этого вы должны быть уверены, что действительно чего-то стоите, а кроме того, необходимо сохранять независимость. А это редко кому удается. Либо вы вообще сбрасываете с себя упряжь и перестаете приносить пользу, либо волей-неволей идете туда, куда вас тянут товарищи по упряжке. Но все-таки взгляните на этих прелестных прямокрылых!

И Лидгейту пришлось осмотреть содержимое каждого ящика: хотя священник посмеивался над собой, но продолжал выдвигать их.

– Да, кстати, об упряжи, – сказал Лидгейт, когда они наконец снова сели. – Я уже довольно давно решил в упряжке не ходить, насколько это зависит от меня. Вот почему я предпочел пока не обосновываться в Лондоне. То, что я видел, когда учился там, мне не понравилось – слишком уж много пустопорожнего важничанья и интриг. В провинции люди меньше претендуют на ученость, и с ними труднее находить общие интересы, зато ваше самолюбие из-за них не страдает, а потому легче избегать ссор и спокойно идти избранным путем.

– Да... Ну что же, начали вы неплохо – вы сделали верный выбор и занимаетесь работой, для которой подходите больше всего, а ведь столько людей ошибаются и уже не могут потом исправить свои ошибки. Но не будьте так уверены, что вам удастся сохранить независимость.

– Вы имеете в виду семейные узы? – спросил Лидгейт и подумал, что самого мистера Фербратера эти узы как будто опутали по рукам и ногам.

– Не только. Хотя семья, конечно, создает много трудностей. Однако хорошая жена – хорошая, чуждая суетности женщина – может стать истинной помощницей мужа и помочь ему сохранить независимость. Вот один из моих прихожан – прекрасный человек, но вряд ли он сумел бы вынести все, что вынес, если бы не его жена. Вы знаете Гартов? Впрочем, они, по моему, не были пациентами Пикока.

– Да, не были. Но в Лоуике у старика Фезерстоуна живет какая-то мисс Гарт.

– Их дочь. Чудесная девушка.

– Она очень молчалива. Я, собственно, не обратил на нее внимания.

– Зато она на вас обратила, можете не сомневаться.

– Почему же? – спросил Лидгейт. (Не мог же он сказать: «Ну разумеется»!)

– О, она обо всех составляет свое мнение. Я готовил ее к конфирмации и должен признаться – она всегда была моей любимицей.

Однако Лидгейт не стал расспрашивать про Гартов, и мистер Фербратер минуту-другую молча попыхивал трубкой. Затем отложил ее, вытянул ноги, повернулся к Лидгейту с улыбкой в живых глазах и сказал:

– Однако мы, обитатели Мидлмарча, вовсе не такие кроткие и покладистые, какими вы нас считаете. У нас есть свои интриги и свои партии. Я, например, принадлежу к одной партии, а Булстрод к другой. Если вы подадите свой голос за меня, то заденете Булстрода.

– А что дурного известно про Булстрода? – быстро спросил Лидгейт.

– Я ведь не сказал, что о нем известно что-нибудь дурное. Просто если вы не поддержите его кандидата, то наживете себе врага.

– Это меня трогает очень мало, – сказал Лидгейт гордым тоном. – Но он высказывал здравые идеи об устройстве больниц и тратит значительные суммы на полезные общественные начинания. Он может мне помочь в осуществлении моих планов. Ну а что до его религиозных убеждений... сказал же Вольтер, что заклинаниями можно погубить овечье стадо, если только сдобрить их мышьяком. Я ищу человека, который принес бы мышьяк, а его заклинания меня не интересуют.

– Превосходно. Но в таком случае не наступайте на ногу тому, от кого вы ждете этого мышьяка. А я... я ведь не обижусь, – сказал мистер Фербратер с искренней простотой. – У меня

нет обыкновения вменять мои желания в обязанность другим людям. Булстроуд мне неприятен во многих отношениях. Мне не нравится его круг – это нетерпимые и невежественные люди, которые не столько помогают своим ближним стать лучше, сколько всячески их допекают. Они образуют тесную клику, отличающуюся, так сказать, духовным своекорыстием, а остальное человечество представляется им тельцом, обреченным на закление, дабы питать их на пути в небесную обитель. Впрочем, – добавил он с улыбкой, – я вовсе не утверждаю, что булстроудовская новая больница – плохая затея. А что касается его желания больше не допускать меня в старую, то он просто воздает мне похвалой за похвалу, если считает меня вредным субъектом. И ведь я далеко не образцовый священнослужитель, а лишь в меру добросовестный.

Лидгейт не был так уж уверен, что мистер Фербратор к себе несправедлив. Образцовый священнослужитель, как и образцовый врач, должен был бы считать свою профессию лучшей в мире и обращать всякое знание на службу своей, так сказать, духовной медицине. И он сказал только:

– Но чем Булстроуд обосновывает свое желание не допускать вас в больницу?

– А тем, что я не проповедую его мнений – того, что он именует религией духа, – и что у меня нет свободного времени. И то и другое правда. Однако время я найти мог бы, и сорок фунтов пришлось бы мне очень кстати. Вот, собственно, и вся суть дела. Но довольно об этом. Я просто хотел сказать вам, что в случае, если вы поддержите того, кто дает вам мышьяк, вам не обязательно порывать знакомство со мной. Мне никак не хотелось бы вас лишиться. Вы ведь своего рода кругосветный путешественник, решивший поселиться среди нас, и вы поддерживаете мою веру в существование антиподов. Ну а теперь расскажите мне поподробнее о парижских антиподах.

Глава XVIII

*Величью та же участь суждена,
Что и ничтожеству: герой иль гений,
Как все мы, может заболеть чумой
Иль в дальнем плаванье погибнуть от цинги,
Забывши запастись лимонным соком.*

Вопрос о том, кто будет назначен капелланом, приобрел для Лидгейта практическое значение лишь через несколько недель после этого разговора, и, скрывая причину от самого себя, он до последней минуты откладывал решение, за кого подать свой голос. Ему было бы совершенно безразлично, кто станет капелланом, – иными словами, он выбрал бы сторону, более удобную для себя, и проголосовал бы за мистера Тайка – если бы мистер Фербратер не внушал ему глубокой симпатии.

Но чем короче он узнавал священника прихода Св. Ботольфа, тем больше тот ему нравился. То, как мистер Фербратер вошел в его положение нового человека в городе, которому приходится оберегать свои профессиональные интересы, и не только не пробовал заручиться его помощью, но прямо от нее отказался, свидетельствовало о редкой деликатности и великодушии, и Лидгейт был способен в полной мере оценить их. В других отношениях поведение мистера Фербратера отличалось не меньшим благородством, так что его натуру можно было уподобить одному из тех южных пейзажей, в которых величие природы словно противопоставляется человеческой лени и неряшеству. Трудно было бы найти человека, столь нежного и заботливого с матерью, теткой и сестрой, хотя необходимость содержать их очень затрудняла его жизнь. И мало кто, испытывая постоянную нужду то в том, то в другом, столь же прямодушно отказывался бы прикрывать неизбежные старания улучшить свой жребий обманчивой личиной высокого бескорыстия. Он сознавал, что самому взыскательному критику не в чем было бы его упрекнуть, и, возможно поэтому, относился с некоторым пренебрежением к строгой требовательности тех, кто, несмотря на близость к небесам, не приносил радости в свой дом, тех, чьи возвышенные цели никак не сказывались на их поступках. Проповеди его отличались свежестью и силой, свойственной проповедникам англиканской церкви в ее лучшие дни, и произносил он их, не заглядывая в тетрадь. Послушать его собирались люди из других приходов, а так как многим священникам нередко приходится служить перед полупустыми скамьями, у него были основания ощущать свое превосходство. К тому же он был очень приятным человеком – благожелательным, остроумным, откровенным, и в его тоне никогда не проскальзывала усмешка подавленной горечи или другие подобные чувства, которыми добрая половина из нас постоянно досаждаёт своим друзьям и знакомым. Лидгейт испытывал к нему большую симпатию и хотел бы стать его другом.

Вот почему он избегал думать о назначении капеллана и убеждал себя, что это досадное дело совершенно его не касается и, может быть, ему вообще не нужно будет участвовать в голосовании. По просьбе мистера Булстрода он составлял планы размещения больных в новой больнице, и потому они часто виделись. Банкир ясно показывал, что твердо полагается на Лидгейта, но о предстоящем выборе между Тайком и Фербратером больше не упоминал. Однако, когда состоялось заседание попечительского совета старой больницы и Лидгейт узнал, что на следующую пятницу назначено совещание директоров и врачей, на котором будет рассматриваться вопрос о назначении капеллана, он с раздражением понял, что должен в ближайшие три дня решить для себя, на какую сторону он встанет в этой тривиальной мидлмарчской распре. Внутренний голос твердил ему, что Булстрод здесь – премьер-министр и что от назна-

чения Тайка зависит, получит ли он, Лидгейт, должность или нет, остаться же без нее ему никак не хотелось. Его собственные наблюдения ежеминутно подтверждали слова Фербратера о том, что Булстроуд не простит противодействия своей воле. «Черт бы побрал их мышиную возню!» – такая мысль не раз посещала его по утрам во время бритья (процесса, располагающего к размышлениям), после того как он пришел к выводу, что пора представить все дело на суд своей совести. Бесспорно, против назначения мистера Фербратера можно было выдвинуть достаточно веские возражения – у него и так уже много различных обязанностей, особенно если вспомнить, сколько времени он тратит на занятия, к его приходу отношения не имеющие. Далее, несмотря на все свое уважение к нему, Лидгейт никак не мог свыкнуться с тем, что мистер Фербратер играет в карты ради денег, – конечно, вист ему нравился сам по себе, но целью его оставался выигрыш. Мистер Фербратер любил рассуждать о желательности всяких игр, утверждая, что без них ум англичанина неминуемо закоснеет. Однако Лидгейт не сомневался, что священник играл бы заметно реже, если бы выигрыш не приносил ему денег. В «Зеленом драконе» был бильярдный зал, который опасливые матери и жены считали главным источником соблазна в Мидлмарче. Мистер Фербратер был отличным бильярдом и хотя не принадлежал к завсегдатаям «Зеленого дракона», но, по слухам, иногда заглядывал туда в дневные часы, играл на деньги и выигрывал. К тому же он не скрывал, что капелланом хотел бы стать только из-за сорока фунтов жалованья. Лидгейт не был пуританином, но он не любил азартных игр, и деньги, полученные таким способом, казались ему нечистыми. К тому же его жизненный идеал внушал ему отвращение к подобной погоне за мелкими суммами. До сих пор его собственные нужды удовлетворялись без каких-либо забот с его стороны, и он, как и подобает джентльмену, не привык скупиться на полукроны: о том же, чтобы самому раздобывать эти полукроны, он и помыслить не мог. Он, конечно, знал, что не богат, но бедным он себя никогда не чувствовал и был неспособен вообразить ту роль, которую отсутствие денег играет в человеческих поступках. Деньги никогда не были для него движущей силой. А потому он не находил оправдания для такого сознательного стремления к небольшой наживе. Это было для него настолько омерзительно, что он даже не пытался вычислить соотношение между доходом мистера Фербратера и его более или менее необходимыми расходами. Возможно, он не стал бы производить подобные вычисления, если бы речь шла и о нем самом.

И теперь, перед голосованием, это отвратительное обстоятельство вопияло против мистера Фербратера гораздо громче, чем раньше. Насколько проще было бы выбирать образ действий, если бы человеческие характеры были более последовательными и особенно если бы наши друзья всегда и во всех отношениях подходили для тех обязанностей, которые хотели бы на себя взять! Лидгейт испытывал полную уверенность, что, несмотря на Булстрода, проголосовал бы за мистера Фербратера, если бы возражения против него все же не были вескими, – он ведь не собирается стать вассалом Булстрода! С другой стороны, Тайк – человек, всецело преданный своему клерикальному долгу и, как младший священник при часовне в приходе Св. Петра, располагает достаточным свободным временем. И в сущности, никто ничего дурного о мистере Тайке сказать не мог. Каждый замечал только, что терпеть его не может и что он, наверное, лицемер. Нет, со своей точки зрения Булстроуд был решительно прав.

Но к какому бы решению Лидгейт ни начинал склоняться, он испытывал внутреннюю неловкость, и это возмущало его гордость. Ему не хотелось ссориться с Булстродом, подвергая опасности осуществление своих заветных целей. Но ему не хотелось и голосовать против Фербратера, лишая его должности и жалованья, тем более что эти сорок фунтов, может быть, избавили бы священника от недостойной нужды в карточных выигрышах. Кроме того, Лидгейту было неприятно сознание, что, голосуя за Тайку, он извлекает из этого выгоды для себя. Но для себя ли? Люди, конечно, будут говорить именно так, намекая, что он старается войти в милость к Булстроду, чтобы занять положение повиднее и добиться успеха. Ну и что? Он-то знает, что, если бы дело шло о его личной судьбе, он не придавал бы ни малейшего значения

ни дружбе банкира, ни его вражде. Ему нужна только работа, только воплощение его идей. Так разве он не вправе поставить новую больницу, где у него будет возможность изучать разные типы горячек и проверять действие лекарств, выше всего, что связано с должностью капеллана? Впервые в жизни Лидгейт ощутил сковывающее давление, казалось бы, мелких обстоятельств, их непостижимую паутинообразную сложность. Он так и не завершил этого внутреннего спора и, отправляясь в больницу, в сущности, надеялся только, что во время обсуждения выяснятся какие-то обстоятельства, которые склонят чашу весов на одну сторону, а потому в голосовании не будет нужды. Мне кажется, он полагался также на воздействие минуты, на внезапно возникающее жаркое чувство, которое сразу облегчает решение, чего невозможно добиться никакими хладнокровными рассуждениями. Но как бы то ни было, он еще не знал твердо, за кого подаст голос, и только внутренне восставал против навязанной ему необходимости становиться на чью-то сторону. Совсем недавно это показалось бы ему нелепым образчиком скверной логики: он, с его неуклонной решимостью сохранять независимость, с его высокими целями, в самом начале оказался в тисках ничтожной дилеммы, любое решение которой было ему тягостно. В студенческие годы он рисовал свои действия на избранном поприще совсем, совсем иначе.

Лидгейт вышел из дома довольно поздно, и доктор Спрэг с двумя другими врачами, а также несколько директоров уже были в зале. Однако мистер Булстрод – казначей и председатель – еще не явился. Из разговоров присутствующих как будто следовало, что исход голосования отнюдь не предрешен и большинство Тайку вовсе не так уж обеспечено. Оба старейших врача, как ни удивительно, на этот раз оказались единодушны, а вернее, по разным причинам собирались действовать одинаково. Доктор Спрэг, плотный толстяк, был, как все и предполагали, на стороне мистера Фербратера. Существовало сильнейшее подозрение, что он вообще неверующий, но почему-то Мидлмарч прощал ему этот изъян, словно лорд-канцлеру. Возможно даже, его профессиональная репутация от этого только выигрывала, поскольку старинное убеждение, будто всякое искусство есть порождение несправедности, все еще жило в душах и тех его пациенток, которые придерживались самых строгих взглядов на оборки и догматы. Возможно, именно дух отрицания, пребывавший в докторе, побуждал называть его твердолобым и сухим – качества натуры, также считающиеся благоприятными для накопления медицинских знаний. Во всяком случае, одно не вызывает сомнений: пояись в Мидлмарче доктор с твердыми религиозными взглядами, набожный и во всех отношениях деятельно благочестивый, общество немедленно пришло бы к заключению, что врач он никуда не годный.

В этом смысле доктору Минчину очень повезло (с точки зрения его профессии): религиозность его была весьма терпима и давала своего рода медицинскую санкцию всякой вере, независимо от смысла доктрины и от того, посещал ли пациент церковь или сектантскую молельню. Если мистер Булстрод заявлял, как это было у него в обычае, что церковь должна стоять на лютеранской доктрине оправдания верой, доктор Минчин высказывал убеждение, что человек – не просто машина или случайное скопление атомов; если миссис Уимпл, жалуясь на желудочные колики, говорила о Божественном предопределении, доктор Минчин предпочитал не замыкать окна разума и возражал против твердо установленных границ; если пивовар-унитаринан вышучивал Афанасиев Символ веры, доктор Минчин цитировал «Опыт о человеке» Александра Попа. Ему не нравился несколько вольный стиль доктора Спрэга – он предпочитал солидные цитаты и изысканность во всем. Было известно, что он состоит в родстве с каким-то епископом и иногда гостит «во дворце».

Мягкие пухлые руки, бледный цвет лица и округлость фигуры придавали доктору Минчину большое сходство с кротким священнослужителем, тогда как доктор Спрэг был выше среднего роста, его панталоны постоянно собирались складками на коленях, открывая голенца сапог в ту эпоху, когда мода требовала башмаков с пряжками, и он топал в прихожей и на лестнице так, словно приходил чинить крышу. Короче говоря, он обладал весом, а потому мог

вступить в открытую схватку с болезнью и швырнуть ее на обе лопатки. Доктор же Минчин был более способен обнаружить тайную засаду болезни и обойти ее с тыла. Оба они примерно в равных долях делили таинственную привилегию врачебной славы и весьма церемонно скрывали презрение к искусству друг друга. Считая себя медицинскими столпами Мидлмарча, они всегда были готовы объединиться против любых новаторов, а также профанов, пытающихся вмешиваться в то, что их не касается. Поэтому в душе оба одинаково не терпели мистера Булстрода, но доктор Минчин никогда прямо этого не показывал, а в тех случаях, когда позволял себе не согласиться с ним, всякий раз подробно объяснял причину этого миссис Булстрод, которая твердо верила, что ее конституцию понимает только доктор Минчин. Профан, который вмешивался в действия дипломированных врачей и постоянно навязывал какие-то свои нововведения, одним этим оскорблял профессиональное достоинство, хотя, в сущности, именитой паре он досаждал гораздо меньше, чем хирургам-аптекарям, по контракту обязанным лечить неимущих. И доктор Минчин в полной мере разделял негодование против Булстрода, вызванное тем, что он, по-видимому, решил покровительствовать Лидгейту. Давно утвердившиеся лекари мистер Ренч и мистер Толлер как раз дружески толковали в сторонке о том, что Лидгейт – безмозглый франт и орудие Булстрода. Другьям и знакомым, непричастным к медицинской профессии, они дружно расхваливали молодого своего коллегу, который тоже поселился в городе, когда доктор Пикок удалился на покой, и не имел иных рекомендаций, кроме собственных достоинств и таких свидетельств солидных профессиональных знаний, как то обстоятельство, что он, по-видимому, не тратил времени на изучение других отраслей науки. Было ясно, что Лидгейт отказывается составлять лекарства с единственной целью бросить тень на тех, кто несколько его не хуже, и еще для того, чтобы затемнить различие между собственным положением простого практикующего врача и докторов с университетскими дипломами, которые в общих интересах профессии считали своим долгом тщательно сохранять все положенные градации. Особенно когда речь шла о человеке, не учившемся ни в Оксфорде, ни в Кембридже, не проходившем там ни анатомической, ни врачебной практики и лишь развязно ссылавшемся на знания и опыт, якобы приобретенные в Эдинбурге и Париже, где, возможно, наблюдения за болезнями ведутся и широко, но вот с какими результатами?

Таким образом, в умах присутствующих Булстрод на этот раз оказался связанным с Лидгейтом, а Лидгейт с Тайком, и благодаря столь большому выбору взаимозаменяемых имен в вопросе о назначении капеллана различные умы вынесли относительно него совершенно одинаковые заключения.

Не успев войти, доктор Спрэг заявил без обиняков, обращаясь ко всем присутствующим:

– Я за Фербратера. Против жалованья я не возражаю. Но почему отбирать его у приходского священника? Он ведь небогат – а кроме расходов на содержание дома и церковную благотворительность, ему пришлось застраховать свою жизнь. Положите ему в карман сорок фунтов, и вы сделаете доброе дело. И он отличный человек, Фербратер, – от попа в нем не больше, чем необходимо тому, кто носит духовный сан.

– О-хо, доктор! – сказал старый мистер Паудрелл, удалившийся от дел торговец скобяным товаром, человек в городе влиятельный. Возглас этот представлял собой нечто среднее между смехом и парламентским выражением неодобрения. – Вы, конечно, можете иметь свое мнение. Однако нас должны заботить не чьи-то доходы, а души больных бедняков. – Лицо и голос мистера Паудрелла выражали самое искреннее чувство. – Мистер Тайк – истинный евангелический проповедник. И я подаю бы голос против собственной совести, если бы подавал его не за мистера Тайка. Да-да.

– Противники мистера Тайка, насколько мне известно, никого не просили подавать голос против собственной совести, – сказал мистер Хекбат, богатый кожевник и весьма красноречивый человек. Его сверкающие очки и дыбящиеся надо лбом волосы с упреком повернулись в сторону злополучного мистера Паудрелла. – Но по моему убеждению, нам, как директорам,

надлежит взвесить, будем ли мы считать единственной своей обязанностью одобрение предложений, исходящих от одного лишь лица. Найдется ли среди членов нашего собрания такой, кто подтвердит, что он потребовал бы удаления священнослужителя, который много лет исполнял обязанности капеллана в больнице, если бы не настояния некоторых особ, склонных рассматривать все учреждения нашего города лишь как средства для достижения своих собственных целей? Я не хочу бросить тени ни на чьи побуждения – пусть человек отдает в них отчет своему Творцу, но я утверждаю, что тут действуют влияния, несовместимые с истинной независимостью, и что пресмыкающаяся угодливость обычно порождается обстоятельствами, о которых господа, ведущие себя таким образом, опасаются говорить вслух либо из нравственных, либо из финансовых соображений. Сам я мирянин, но уделял значительное внимание различным религиозным толкам...

– А, к черту религиозные толки! – вмешался мистер Фрэнк Хоули, адвокат и секретарь городского управления, который редко посещал подобные заседания, но на этот раз поспешно вошел в зал с хлыстом в руке. – Нам здесь до них нет дела. Фербратер выполнял свои обязанности в больнице, каковы бы они ни были, не получая вознаграждения, и если теперь решено платить за них жалованье, получать его должен он. Если Фербратера отстранят, это будет черт знает что такое.

– Мне кажется, присутствующим не следует переходить на личности, – сказал мистер Плимдейл. – Я буду голосовать за назначение мистера Тайка, но мне бы и в голову не пришло, если бы мистер Хекбат не намекнул на это, что я – пресмыкающийся угодник.

– Я нигде не переходил на личности. Я совершенно ясно сказал, если мне будет разрешено повторить или хотя бы закончить то, что я намеревался...

– А, Минчин! – воскликнул мистер Фрэнк Хоули, и все отвернулись от мистера Хекбата, предоставляя ему скорбеть о бесполезности высоких природных дарований в Мидлмарче. – Послушайте, доктор, вы ведь на стороне правого дела, э?

– Надеюсь, – ответил доктор Минчин, кивая всем и пожимая кое-кому руки. – Как бы дорого это ни обходилось моим чувствам.

– Ну, тут может быть только одно чувство: симпатия к тому, кого вышвыривают вон, – сказал мистер Фрэнк Хоули.

– Признаюсь, я симпатизирую и другой стороне. И питаю к ней не меньшее уважение, – ответил доктор Минчин, потирая ладони. – Я считаю мистера Тайка превосходнейшим человеком, превосходнейшим... и не сомневаюсь, что его кандидатура была предложена из самых безупречных побуждений. Что касается меня, я от души желал бы отдать ему мой голос. Но я вынужден признать, что права мистера Фербратера более весомы. Он прекрасный человек, умелый проповедник и городской старожил.

Старый мистер Паудрелл молча обвел присутствующих грустным взглядом. Мистер Плимдейл нервно поправил складки пышного галстука.

– Надеюсь, вы не станете утверждать, что Фербратер – образцовый священнослужитель, – объявил, входя в зал, мистер Ларчер, владелец извозной конторы. – Я ничего против него не имею, но, по-моему, такие назначения налагают на нас долг по отношению к городу, не говоря уж о более высоких предметах. На мой взгляд, для священника Фербратер недостаточно выскателен к себе. Я не хочу ни в чем его упрекать, но он будет появляться в больнице настолько редко, насколько это будет зависеть от него.

– Лучше редко, чем слишком часто, черт побери, – заявил мистер Хоули, чья склонность к крепким выражениям была известна всем в этой части графства. – Больным трудно выдерживать много молитв и проповедей. А религия методистского толка скверно действует на бодрость духа и вредна для здоровья, э? – добавил он, быстро обернувшись к четырем врачам.

Но ему никто не ответил, потому что в зал вошли еще три джентльмена и начался обмен более или менее сердечными приветствиями. Это были преподобный Эдвард Тизигер, священ-

ник прихода Св. Петра, мистер Булстрод и наш приятель мистер Брук из Типтона, который недавно разрешил включить себя в число директоров, но не посещал заседаний. Однако на этот раз Булстроуду удалось его уговорить. Теперь все были в сборе, кроме Лидгейта.

Члены совета уселись, и мистер Булстрод, бледный и сдержанный, как обычно, занял председательское место. Мистер Тизигер, умеренный евангелист, высказал пожелание, чтобы назначение получил его друг мистер Тайк, человек весьма усердный в вере, который служит в часовне, а потому отдает спасению душ не так уж много времени и может без всякого ущерба взять на себя новые обязанности. Желательно, чтобы капеллан, назначаемый в больницу, был полон ревностного пыла, так как перед ним открываются особые возможности духовного воздействия, и, хотя решение выплачивать капеллану жалованье следует только одобрить, необходимо бдительно следить, чтобы должность эта не превратилась в синекуру. Мистер Тизигер держался с таким спокойным достоинством, что несогласным оставалось только молча беситься.

Мистер Брук был убежден, что у всех в этом вопросе намерения самые лучшие. Сам он не занимался делами старой больницы, хотя его всегда очень интересует все, что может принести пользу Мидлмарчу, и он весьма счастлив рассматривать вместе со здесь присутствующими джентльменами любые вопросы, связанные с общественным благом, – «любые такие вопросы, знаете ли», – повторил мистер Брук, по обыкновению многозначительно кивая.

– Я очень занят своими обязанностями мирового судьи и собиранием документальных свидетельств, но я считаю, что мое время принадлежит обществу... И, короче говоря, мои друзья убедили меня, что капеллан, получающий жалованье... жалованье, знаете ли – это превосходно. И я счастлив, что могу присутствовать здесь и проголосовать за назначение мистера Тайка, который, насколько я понял, человек редких качеств, апостолический и красноречивый, ну и так далее. И разумеется, я не откажу ему в моем голосе... при указанных обстоятельствах, знаете ли.

– Мне кажется, вам вдолбили только одну сторону вопроса, мистер Брук, – сказал мистер Фрэнк Хоули, который никого не боялся и, как истый тори, относился подозрительно к предвыборным маневрам кандидатов не от его партии. – Вам, по-видимому, неизвестно, что один из достойнейших наших священников в течение многих лет исполнял обязанности больничного капеллана без всякого вознаграждения и что его предполагают заменить мистером Тайком.

– Простите меня, мистер Хоули, – сказал Булстрод. – Мистер Брук был самым подробным образом осведомлен о характере мистера Фербратера и его положении.

– Осведомлен врагами мистера Фербратера! – воскликнул мистер Хоули.

– Надеюсь, личная неприязнь тут никакой роли не играет, – сказал мистер Тизигер.

– А я могу поклясться в обратном, – возразил мистер Хоули.

– Господа, – негромко произнес мистер Булстрод, – суть вопроса можно сообщить очень кратко, и, если возникли сомнения, что кто-то из тех, кому предстоит сейчас подать свой голос, не был ознакомлен с ней в достаточной мере, я готов изложить все соображения, имеющие отношение к делу.

– Не вижу в этом смысла, – сказал мистер Хоули. – Полагаю, мы все знаем, кому собираемся отдать свой голос. Человек, который хочет поддержать справедливость, не ждет, чтобы его знакомили со всеми сторонами вопроса в последнюю минуту. У меня нет лишнего времени, и я предлагаю голосовать немедленно.

Последовал короткий, но жаркий спор, а затем каждый, написав на листке бумаги «Тайк» или «Фербратер», опустил его в стеклянный стакан. И тут мистер Булстрод увидел в дверях Лидгейта.

– Как вижу, голоса пока разделились поровну, – сказал мистер Булстрод четким злым голосом и посмотрел на Лидгейта. – Остается подать решающий голос – вам, мистер Лидгейт. Будьте так добры, возьмите листок.

– Ну, так дело решено, – сказал мистер Ренч, вставая. – Мы все знаем, как проголосует мистер Лидгейт.

– Вы, кажется, вкладываете в свои слова какой-то особый смысл? – сказал Лидгейт с некоторым вызовом, держа карандаш над бумагой.

– Я просто говорю, что вы проголосуете так же, как мистер Булстроуд. Вы находите это оскорбительным?

– Быть может, это кого-нибудь и оскорбляет. Но мне это не мешает проголосовать так же, как он.

И Лидгейт написал: «Тайк».

Вот так преподобный Уолтер Тайк стал капелланом старой больницы, а Лидгейт продолжал и дальше работать с мистером Булстроудом. Он искренне считал, что Тайк, возможно, больше подходил для этой должности, но совесть твердила ему, что, если бы не кое-какие посторонние влияния, он проголосовал бы за мистера Фербратера. А потому назначение капеллана осталось для него болезненным воспоминанием о том, как мелочные мидлмарчские интриги заставили его поступиться независимостью. Может ли человек быть доволен своим решением, когда он в подобных обстоятельствах столкнулся с подобной альтернативой? Не больше, чем он бывает доволен шляпой, которую вынужден был выбрать из тех, какие предлагает ему мода, и носит в лучшем случае с безразличием, видя вокруг себя людей в таких же шляпах.

Однако мистер Фербратер держался с ним по-прежнему дружески. Характер мытаря и грешника отнюдь не всегда далек от характера современного фарисея, ибо мы в большинстве своем столь же мало способны замечать недостатки своего поведения, как и недостатки наших доводов или тупость наших шуток. Но священник Св. Ботольфа ни в чем не был схож с фарисеем и, признавая себя таким же, как все люди, поразительно от них отличался в том отношении, что умел извинять тех, кто думал о нем не слишком лестно, и беспристрастно судить чужие поступки, даже когда они причиняли ему вред.

– Мир меня обломал, я знаю, – сказал он как-то Лидгейту. – Но с другой стороны, я отнюдь не сильный человек и никогда не обрету славы. Выбор, предложенный Геркулесу, – красивая сказка, но Продик весьма облегчил его для героя: как будто достаточно первого благого решения. Есть ведь и другие легенды – почему он взял в руки прялку и каким образом надел под конец рубашку Несса. Мне кажется, одно благое решение может удержать человека на верном пути, только если ему будут в этом способствовать благие решения всех остальных людей.

Рассуждения мистера Фербратера не всегда укрепляли бодрость духа: он не был фарисеем, но ему не удалось избежать той низкой оценки человеческих возможностей, которую мы торопливо выводим из наших собственных неудач. Лидгейт подумал, что воля мистера Фербратера до жалости слаба.

Глава XIX

*И видите, другая спит на ложе,
Ладонь под щеку подложив...*

Данте. Божественная комедия. Чистилище

Когда Георг Четвертый еще правил в Виндзоре, когда герцог Веллингтон был премьер-министром, а мистер Винси – мэром древней корпорации Мидлмарча, миссис Кейсобон, урожденная Доротея Брук, отправилась в свадебное путешествие в Рим. В те дни мир в целом знал о добре и зле на сорок лет меньше, чем ныне. Путешественники редко хранили исчерпывающие сведения о христианском искусстве в голове или в кармане, и даже блистательнейший из тогдашних английских критиков принял усыпанную цветами гробницу вознесшейся Богоматери за богато украшенную вазу, рожденную фантазией художника. Закваска романтизма, помогшего восполнить многие тусклые пробелы любовью и знанием, еще не оживила ту эпоху и не проникла в обычные кушанья, а только бродила в сердцах и умах неких живших в Риме длинноволосых немецких художников, чья восторженная энергия заражала юношей и других национальностей, которые работали или бездельничали рядом с ними.

В одно прекрасное утро молодой человек с волосами лишь умеренно длинными, хотя густыми и кудрявыми, однако одетый и державшийся как англичанин, отвернулся от Бельведерского торса и залюбовался великолепным видом гор, который открывается из полукруглого вестибюля, соседствующего с этим ватиканским залом. Он был так поглощен созерцанием пейзажа, что заметил появление темноглазого, чем-то взволнованного немца, только когда тот положил ему руку на плечо и сказал с сильным акцентом:

– Быстрей туда, не то она изменит позу.

Молодой человек встрепнулся, и они оба быстро прошли мимо Мелеагра в зал, где отдыхающая Ариадна, которую тогда называли Клеопатрой, покоится на пьедестале во всей мраморной пышности своей красоты, и складки одеяния облегают ее, легкие и нежные, точно цветочные лепестки. Друзья как раз успели увидеть возле этой полулежащей фигуры еще одну – фигуру цветущей молодой женщины, чьи формы, столь же прекрасные, как у мраморной Ариадны, скрывало аскетически серое одеяние. Длинная накидка, завязанная у шеи, была отброшена за локти, и красивая рука без перчатки подпирала щеку, немного сдвинув назад белый кастановый капор, который обрамлял ее лицо и просто уложенные темно-каштановые волосы, точно нимб. Она не глядела на статую и, возможно, не думала о ней – ее большие глаза были мечтательно устремлены на полоску солнечного света, пересекавшую пол. Но едва молодые люди остановились, словно любясь Клеопатрой, она почувствовала их присутствие и, не взглянув на них, направилась к служанке и курьеру, которые ждали у дверей зала.

– Ну, что ты скажешь об этом удивительном контрасте? – спросил немец, посмотрел на приятеля, словно приглашая его восхититься, и продолжал свои излияния, не дожидаясь ответа: – Тут лежит античная красота, даже в смерти не сходная с трупом, но лишь замкнувшаяся в полном удовлетворении своим чувственным совершенством. А рядом стоит красота, исполненная жизни, таящая в груди память о долгих веках христианства. Но ей недостает одеяния монахини. По-моему, она принадлежит к тем, кого вы называете квакерами, хотя на моей картине я изобразил бы ее монахиней. Впрочем, она замужем – я видел кольцо на этой удивительной руке, иначе я принял бы тощего Geistlicher¹³ за ее отца. Некоторое время назад я видел,

¹³ Священника (нем.).

как он с ней прощался, и вдруг вот сейчас она предстала передо мной в этой великолепной позе. Ты только подумай! Может быть, он богат и захочет заказать ее портрет. Но что толку глядеть ей вслед – вон она, уезжает. Давай проследим, где она живет.

– Нет-нет, – сказал его друг, сдвигая брови.

– Ты какой-то странный, Ладислав. Словно тебя что-то поразило. Ты ее знаешь?

– Я знаю, что она жена моего кузена, – ответил Уилл Ладислав и, сосредоточенно хмурясь, направился к дверям зала. Немец шел рядом с ним, не спуская с него глаз.

– Как? Этот Geistlicher? Он больше похож на дядю, чем на кузена. И это более полезное родство.

– Он мне не дядя и даже не кузен, а просто дальний родственник, – ответил Ладислав раздраженно.

– Schön, schön¹⁴. Ну, не огрызайся. Ты ведь не сердись на меня за то, что, по-моему, я еще не видывал такой идеальной юной мадонны, как госпожа Дальняя Родственница?

– Сержусь? Вздор! Я видел ее только один раз и всего несколько минут, когда мой родственник познакомил нас перед самым моим отъездом из Англии. Она тогда была еще его невестой. И я не знал, что они собираются в Рим.

– Но теперь ты ведь пойдешь их повидать? Раз тебе известна их фамилия, узнать, где они поселились, нетрудно. Заглянем в почтовую контору? И ты поговоришь про портрет.

– Черт побери, Науман! Я еще не знаю, пойду ли я. Я не так бесцеремонен, как ты.

– Ба! Просто ты дилетант и любитель. Будь ты художником, ты увидел бы в госпоже Дальней Родственнице античную оболочку, одушевленную христианской верой. Своего рода христианская Антигона – чувственная сила, подчиняющаяся власти духа.

– И считал бы, что ее главное назначение в жизни – позировать тебе для картины: Божественное начало получило бы высшее воплощение и только что не исчерпало бы себя на твоём холсте. Да, я дилетант – да, я не думаю, что вся вселенная устремляется к постижению темной символики твоих картин.

– Но ведь так оно и есть, мой милый! В той мере, в какой вселенная устремляется сквозь меня, Адольфа Наумана, это так, – ответил добродушный художник и положил руку на плечо Ладислава, несколько не обиженный его неожиданной вспышкой. – Посуди сам. Мое существование подразумевает существование всей вселенной, верно? А мое назначение – писать картины, и как художника меня осенила идея, genialisch¹⁵ идея картины с твоей троюродной тетушкой или дальней прабабушкой, из чего следует, что вселенная устремляется к этой картине посредством багра или крючка, который есть я, – ведь верно?

– Но что, если другой крючок, который есть я, устремляется, чтобы помешать ей? Тогда все выглядит далеко не так просто.

– Почему же? Результат борьбы будет тем же – написанная картина или ненаписанная картина.

Уилл не мог устоять против такой невозмутимости, и туча на его лице рассеялась в солнечном сиянии смеха.

– Так как же, друг мой, ты мне поможешь? – с надеждой в голосе спросил Науман.

– Нет. Какой вздор, Науман! Английские дамы ведь не натурщицы, готовые к услугам любого и каждого. К тому же ты хочешь выразить своей картиной слишком уж многое, а напишешь просто портрет, неплохой или скверный, на некоем фоне, который знатоки будут объяснять, хвалить или бранить, каждый по-своему. А что такое портрет женщины? В конце-то концов, ваша живопись, ваши изобразительные искусства довольно-таки беспомощны. Они

¹⁴ Ладно, ладно (нем.).

¹⁵ Гениальная (нем.).

путают и затемняют идеи, вместо того чтобы рождать их. Язык – куда более могучее средство выражения.

– Да, для тех, кто не способен писать картины, – сказал Науман. – Тут ты совершенно прав. Я ведь не советовал тебе заниматься живописью, друг мой.

Добродушный художник не был лишен жала, но Ладислав не показал и вида, что почувствовал укол. Он продолжал, словно не слыша:

– Язык создает более полный образ, который только выигрывает благодаря некоторой неясности. В конце концов, истинное зрение – внутри нас, и живопись терзает наш взгляд вечным несовершенством. И особенно изображения женщин. Как будто женщина – всего лишь сочетание красок! А движения, а звук голоса? Даже дышат они по-разному и с каждым новым мгновением становятся иными. Вот, например, женщина, которую ты только что видел, – как ты изобразишь ее голос? А ведь голос ее даже божественнее ее лица.

– Так-так! Ты ревнуешь. Никто не смеет думать, будто он способен написать твой идеал. Это серьезно, друг мой! Твоя двоюродная тетушка! «Der Neffe als Onkel»¹⁶ в трагическом смысле – *ungeheuer*!¹⁷

– Науман, мы с тобой поссоримся, если ты еще раз назовешь эту даму моей тетушкой.

– А как я должен ее называть?

– Миссис Кейсобон.

– Отлично. Ну а предположим, я познакомлюсь с ней вопреки тебе и узнаю, что она желает, чтобы ее написали?

– Да, предположим! – пробормотал Уилл Ладислав презрительно, чтобы прекратить этот разговор. Он сознавал, что сердится по совершенно ничтожным и даже выдуманным поводам. Ну какое ему дело до миссис Кейсобон? И тем не менее он чувствовал, что в его отношении к ней произошла какая-то перемена. Существуют натуры, постоянно создающие для себя коллизии и кульминации в драмах, которые никто не собирается с ними разыгрывать. Их горячность пропадает втуне, ибо объект ее, ничего не подозревая, хранит полное спокойствие.

¹⁶ «Племянник в качестве дяди» (нем.).

¹⁷ Чудовищно (нем.).

Глава XX

*Ребенок брошенный, внезапно пробужден,
Глядит по сторонам, открыв в испуге глазки,
Но видит он лишь то, чего не видит он:
Ответный взор любви и ласки.*

Два часа спустя Доротея сидела в задней комнате прекрасной квартиры на Виа-Систина, служившей ей будуаром.

Мне остается с огорчением добавить, что она судорожно рыдала, ища в слезах облегчения измученному сердцу с тем отчаянием, какому женщина, привыкшая постоянно сдерживаться из гордости и из деликатности по отношению к другим, порой поддается, когда уверена, что никто не нарушит ее уединения. Мистер же Кейсобон собирался задержаться в Ватикане.

Однако Доротея даже себе не могла бы точно назвать причину своего горя, и лишь одна ясная и четкая мысль пробивалась сквозь смятение в ее мозгу и душе, одно жгучее самообвинение: что ее отчаяние – плод духовной бедности. Она вышла замуж за человека, которого избрала сама, а к тому же, в отличие от других юных новобрачных, всегда видела в браке лишь начало новых обязанностей и все время говорила себе, что мистер Кейсобон бесконечно превосходит ее умом и потому она не сможет делить с ним многие его занятия. В довершение всего после недолгих лет девичества, проведенных в мирке узких понятий и представлений, она внезапно очутилась в Риме, этом зримом воплощении истории, где прошлое целого полушария словно шествовало в похоронной процессии с изображениями неведомых предков и трофеями, добытыми в дальних краях.

Но эти величественные обломки былого только еще больше сообщали ее замужеству странный оттенок сновидения. Доротея жила в Риме уже шестую неделю и в теплые ясные утра, когда осень и зима словно прогуливаются рука об руку, как любящие супруги, одному из которых вскоре предстоит тоскливый холод одиночества, она ездила кататься – сперва с мистром Кейсобоном, но в последние дни чаще с Тэнтрип и их надежным курьером. Ее водили по лучшим картинным галереям, возили любоваться знаменитыми пейзажами, показывали ей самые величественные руины и самые великолепные церкви, однако теперь она предпочитала поездки в Кампанию, чтобы побыть наедине с землей и небом вдали от маскарада столетий, где ее собственная жизнь, казалось, надевала маску и непонятный костюм.

Для тех, кто смотрит на Рим взглядом, исполненным животворной силы знания, которое вдыхает пылающую душу во все памятники истории и прослеживает скрытые связи, объединяющие римские контрасты в стройное целое, Вечный город, возможно, еще остается духовным центром и наставником мира. Но пусть они вообразят еще один контраст: колоссальные хаотические откровения столицы древней империи и папства – и девушка, которая воспитана в духе английского и швейцарского пуританства, с историей знакома только в ее художничестве протестантском истолковании, а в искусстве не пошла дальше расписывания вееров; девушка, чья пылкость преобразила ее скудные знания в принципы и подчинила этим принципам все ее действия, а чуткость и впечатлительность превращали самые абстрактные предметы в источник радости или страданий; девушка, которая совсем недавно стала женой и вдруг обнаружила, что восторженно предвкушавшийся новый неведомый долг вверг ее в бурный водоворот мыслей и чувств, связанных всего лишь с ее собственной судьбой. Грозная тяжесть непостижимого Рима не ложится бременем на пустыньские души веселых нимф, ибо они видят в нем просто фон для развлечений англо-инострannого общества, но у Доротеи не было такой защиты от глубоких впечатлений. Развалины и базилики, дворцы и каменные колоссы, вверг-

нутые в убогость настоящего, где все живое и дышащее словно погружено в трясину суеверий, отторгнутых от истинного благочестия, неясная, но жадная титаническая жизнь, глядящая и рвущаяся со стен и потолков, бесконечные ряды белых фигур, чьи мраморные глаза словно хранят смутный свет чуждого мира, – все эти неисчислимые остатки надменных идеалов, и чувственных и духовных, беспорядочно перемешанные с неопровержимыми свидетельствами нынешнего забвения и упадка, сначала потрясли ее, словно удар электрического тока, а затем подавили, и она испытывала томительное болезненное недоумение, которое возникает, когда чувства немеют от избытка и смятения мыслей. Образы, неясные и в то же время исполненные жаркой силы, властно вторглись в ее юное восприятие и оставались живыми в ее памяти, даже когда она о них не думала, воскресая в странных ассоциациях на протяжении всей ее дальнейшей жизни. Наши настроения часто воплощаются в мысленных картинах, которые сменяют друг друга, словно на экране волшебного фонаря, и с тех пор Доротея, когда ею овладевала глухая тоска, вновь видела перед собой величественные своды собора Святого Петра, гигантский бронзовый балдахин, неукротимую решительность в позах и даже в складках одеяний пророков и евангелистов на мозаиках вверху и вывешенные к Рождеству занавесы, алеющие повсюду, словно глаза были неспособны различать другие цвета.

Впрочем, такое внутреннее потрясение далеко не исключительно – юные души во всей их наивной обнаженности постоянно ввергаются в хаос тягостных несоответствий, и им предоставляется «самим встать на ноги», а старшие и опытные люди тем временем спокойно занимаются собственными делами. И я не думаю, что зрелище миссис Кейсобон, рыдающей от отчаяния через шесть недель после свадьбы, будет сочтено трагическим. Замена воображаемого будущего настоящим неизбежно сопровождается определенными разочарованиями и страхами, и это вполне обычно, а то, что обычно, по нашему внутреннему убеждению, не может сокрушить человеческое сердце. Тот элемент трагедии, который заключается именно в ее обычности, пока еще недоступен загрубелому восприятию рода людского, а возможно, мы попросту не приспособлены к тому, чтобы выдерживать длительное соприкосновение с ним. Если бы мы могли проникать в глубины обычной жизни и постигать то, что там происходит, это было бы так, словно мы обрели способность слышать, как растет трава и как бьется сердце белочки, – мы погибли бы от того невероятного шума, который таится по ту сторону тишины. Но пока даже проницательнейшие из нас отлично защищены душевной глухотой.

Но как бы то ни было, Доротея плакала, однако, если бы ее попросили объяснить причину, она, подобно мне, прибегла бы лишь к общим словам: уточнить значило бы попытаться изложить историю игры светотени, ибо видение нового подлинного будущего, вытесняющего воображаемое, слагалось из бесконечных мелочей, которые накапливались с постепенностью, незаметной, как движение минутной стрелки, и теперь Доротея ее супружеский долг и мистер Кейсобон представлялись совсем не такими, какими рисовались в ее девичьих мечтах. Пока еще протекло слишком мало времени, чтобы она могла вполне осознать это изменение или хотя бы признать себе, что такое изменение происходит, – а тем более дать иное направление преданности и лояльности, которые настолько прочно вошли в ее духовный строй, что рано или поздно она неизбежно должна была на них опереться. Непрерывный бунт, хаотичная жизнь без какой-либо высокой цели, требующей любви и самоотверженной решимости, были для нее невозможны. Но пока она переживала тот период, когда сила ее характера только увеличивала смятение. В этом смысле первые месяцы брака часто напоминают бурю – то ли в стакане воды, то ли в океане, – которая со временем стихает и сменяется ясной погодой.

Но разве мистер Кейсобон не был столь же учен, как и прежде? Разве его манера выражаться изменилась, а жизненные правила стали менее похвальными? О женское своеобразие! Разве из памяти мистера Кейсобона исчезла хронология, или он утратил способность не только излагать суть тех или иных теорий, но и называть имена главных их последователей, или уже не мог разбить на разделы любую заданную тему? И разве Рим не предоставляет самое широкое

поле для применения подобных талантов? К тому же разве Доротея в своих мечтах не отводила особого места облегчению бремени тягот, а может быть, и печалей, которыми оборачиваются столь великие труды для тех, кто ими занят? А ведь сейчас еще виднее, что мистер Кейсобон влачит нелегкое бремя.

Все это вопросы, на которые нечего ответить, но, что бы ни осталось прежним, освещение изменилось, и в полдень уже нельзя увидеть жемчужные переливы утренней зари. Факт остается фактом: натура, открывавшаяся вам лишь через краткие соприкосновения в недолгие радужные недели, которые называют временем ухаживания, может в постоянном общении супружества оказаться лучше или хуже, чем грезилось вам прежде, но в любом случае окажется не совсем такой. И можно было бы только поражаться тому, как быстро обнаруживается это несоответствие, если бы нам не приходилось постоянно сталкиваться со сходными метаморфозами. Когда мы покороче узнаём человека, очаровавшего нас остроумием на званом обеде, или наблюдаем за любимым политическим оратором после того, как он становится министром, наше отношение к нему может претерпеть столь же быструю перемену. В этих случаях мы также начинаем с того, что знаем мало, верим же многому, а кончаем тем, что меняем пропорцию на обратную.

Однако подобные сравнения могут сбить с толку, так как мистер Кейсобон совершенно не был способен прельщать ложным блеском. Он притворялся не более, чем какое-либо жвачное животное, и вовсе не старался представлять себя в выгодном свете. Так почему же за недолгие недели, протекшие после ее свадьбы, Доротея не столько заметила, сколько с гнетущим унынием ощутила, что вместо широких просторов и свежего ветра, которые она в грезах обретала, приобщившись к духовному миру своего мужа, ее там ждут тесные прихожие и запутанные коридоры, как будто никуда не ведущие? Мне кажется, дело в том, что дни помолвки – это своего рода многообещающее предисловие и малейший признак какой-либо добродетели или таланта воспринимается как залог восхитительных богатств, которые полностью откроются в постоянном общении супружеской жизни. Но, едва переступив порог брака, люди ищут уже не будущего, а настоящего. Тот, кто отправился в плавание на корабле супружества, не может не заметить, что корабль никуда не плывет, что моря нигде не видно и что вокруг – мелководье непрочного пруда.

Во время их бесед до свадьбы мистер Кейсобон нередко пускался в подробные объяснения или рассуждения, смысл которых оставался Доротее непонятен, но она полагала, что причина заключается в обрывочности этих бесед, и, поддерживаемая верой в их совместное будущее, с благоговейным терпением выслушивала перечень возможных возражений против совершенно нового взгляда мистера Кейсобона на бога филистимлян Дагона и на других божеств, изображавшихся в виде рыбы, и не сомневалась, что впоследствии достигнет необходимых высот и поймет всю важность этого столь близкого его сердцу вопроса. А его категоричность и пренебрежительный тон, когда речь заходила о том, что особенно волновало ее мысли, было легко объяснить тем ощущением спешки и нетерпения, которое оба они испытывали в то время. Но теперь, в Риме, где все ее чувства были взбудоражены, а вторгающиеся в жизнь новые впечатления усугубляли прежние душевные трудности, она все чаще и чаще с ужасом ловила себя на внутренних вспышках гнева и отвращения, а иногда ею овладевала тоскливая безнадежность. В какой мере Прозорливый Гукер или другие прославленные эрудиты, достигнув тех же лет, походили на мистера Кейсобона, знать ей было не дано, а потому подобное сравнение не могло послужить ему на пользу. Во всяком случае, то, как ее муж говорил об окружающих их странно внушительных творениях былого, начинало вызывать у нее почти содрогание. Возможно, им руководило похвальное намерение показать себя с самой лучшей стороны, но всего лишь показать себя. То, что поражало ее ум новизной, на него наводило скуку. Всякая способность думать и чувствовать, почерпнутая им от соприкосновения с живой

жизнью, давным-давно преобразилась в своего рода высушенный препарат, в мертвое набальзамированное знание.

Когда он спрашивал: «Это вам интересно, Доротея? Может быть, останемся здесь подольше? Я готов остаться, если вы этого хотите», – ей казалось, что и остаться, и уехать будет одинаково тоскливо. Или в другой раз:

– Не хотите ли поехать в Фарнезину, Доротея? Там находятся знаменитые фрески, исполненные по эскизам Рафаэля, а также самим Рафаэлем, и очень многие считают, что их стоит посмотреть.

– Но вам они нравятся? – этот вопрос Доротея задавала постоянно.

– Они, насколько мне известно, ценятся весьма высоко. Некоторые из них изображают историю Амура и Психеи, которая, вероятнее всего, представляет собой романтическую выдумку литературного периода, а потому, на мой взгляд, не может считаться истинным мифом. Но если вам нравится настенная живопись, то поездка туда не составит труда, и тогда вы, если не ошибаюсь, завершите свое знакомство с основными произведениями Рафаэля, а было бы жаль побывать в Риме и не увидеть их. Это художник, который, по всеобщему мнению, соединил в своих творениях совершенное изящество формы с бесподобностью выражения. Таково, по крайней мере, мнение знатоков, насколько мне удалось установить.

Подобные ответы, произносившиеся размеренным тоном, каким положено священнику читать тексты с кафедры, не отдавали должного чудесам Вечного города и не сулили никакой надежды на то, что, узнай она о них побольше, мир засиял бы для нее новыми красками. Ничто так не угнетает юную пылкую душу, как общение с теми, в ком годы, отданные приобретению знаний, словно иссушили способность увлекаться и сочувствовать.

Впрочем, были предметы, очень занимавшие мистера Кейсобона, будившие в нем интерес, довольно близкий к тому, что принято называть энтузиазмом, и Доротея прилагала все старания к тому, чтобы следовать за ходом его мыслей, боясь помешать ему и почувствовать, как он недоволен, что должен отвлекаться от них из-за нее. Однако она мало-помалу утрачивала прежнюю счастливую уверенность, что, следуя за ним, увидит чудесные просторы. Бедный мистер Кейсобон сам растерянно блуждал среди узких закоулков и винтовых лестниц, то пытаясь проникнуть в туман, окружающий кабиров, то доказывая неправильность параллелей, проводимых другими толкователями мифов, и совершенно терял из вида цель, ради которой предпринял эти труды. Довольствуясь огоньком свечи, он забыл про отсутствие окон и, язвительно комментируя изыскания других людей о солнечных богах, стал равнодушен к солнечному свету.

Доротея, возможно, далеко не сразу заметила бы эти черты в характере мистера Кейсобона, твердые и неизменные, точно кости, если бы ей позволялось давать выход ее чувствам, – если бы он ласково держал ее руку в ладонях и с нежностью и участием выслушивал те безыскусственные истории, из которых слагался ее житейский опыт, и отвечал бы ей подобными же признаниями, так что прошлая жизнь каждого стала бы достоянием обоих, укрепляя их близость и привязанность; или если бы она могла питать свою любовь теми детскими ласками, потребность в которых свойственна каждой женственной женщине, еще в детстве осыпавшей поцелуями твердую макушку облысевшей куклы, наделяя эту деревяшку любящей душой, потому что ее самое переполняла любовь. Такой была натура и Доротеи. Как ни жаждала она проникнуть в дальние пределы знаний и творить добро повсюду, у нее достало бы жара и для того, что было рядом, – она готова была бы расцеловать рукав сюртука или нежно погладить шнурки башмаков мистера Кейсобона, если бы он снисходительно принимал это, а не ограничивался тем, что с неизменной учтивостью называл ее милой и истинно женской натурой и немедленно вежливо придвигал ей стул, показывая, насколько неожиданными и неуместными находит он подобные проявления чувств. С необходимым тщанием завершив утром свой клерикальный туалет, он признавал допустимыми лишь те радости жизни, которые оставляли

неприкосновенными и правильные складки жесткого галстука той эпохи, и мысли, занятые неопубликованными материалами.

Как ни печально, идеи и решения Доротеи были, напротив, подобны тающим льдинам, что плывут и растворяются в теплой воде, частью которой они оставались и в иной форме. Ее оскорбляло, что она оказалась игрушкой чувства, словно лишь оно могло служить для нее средством познания, – ее сила расходовалась на приступы волнения, борьбы с собой, уныния и на новые картины более полного самоотвержения, которое преображает все мучительные противоречия в исполнении долга. Бедняжка Доротея! Она, бесспорно, терзала себя, не в силах обрести равновесие, а в это утро вывела из равновесия и мистера Кейсобона.

Они допивали кофе, и, полная решимости преодолеть то, что она считала своим эгоизмом, Доротея обратила к мужу лицо, полное живого интереса, когда он заговорил:

– Дорогая Доротея, время нашего отъезда приближается, и пришла пора подумать, чего мы еще не сделали. Я предпочел бы вернуться домой раньше, чтобы мы могли встретить Рождество в Лоуике, но мои розыски здесь оказались более длительными, чем я предполагал. Надеюсь, однако, что проведенное здесь время не было лишено для вас приятности. Среди достопримечательностей Европы римские всегда считались наиболее поразительными, а в некоторых отношениях и поучительными. Я прекрасно помню, что считал настоящей эпохой в моей жизни первое посещение Рима, где я смог побывать после падения Наполеона – события, в результате которого вновь оказалось возможным путешествовать по странам Европы. Мне кажется, что Рим принадлежит к тем городам, к которым применялась следующая чрезмерная гипербола: «Увидеть Рим и умереть», однако, имея в виду вас, я предложил бы такую поправку: «Увидеть Рим новобрачной и жить после этого счастливой супругой».

Мистер Кейсобон произнес эту небольшую речь с самыми лучшими намерениями, помаргивая, слегка кивая и заключив ее улыбкой. Он не обрел в браке безоблачного блаженства, но твердо хотел быть безупречным мужем, дающим очаровательной молодой женщине все то счастье, которого она заслуживает.

– А вы? Вы остались довольны, что мы побывали тут... я имею в виду – результатами ваших изысканий? – сказала Доротея, стараясь думать только о том, что больше всего занимало ее мужа.

– Да, – ответил мистер Кейсобон тем тоном, который превращает это слово почти в отрицание. – Я зашел гораздо дальше, чем предполагал, так как неожиданно столкнулся с самыми разнообразными вопросами, потребовавшими аннотирования, – хотя прямого отношения к моей теме они не имеют, оставить их вовсе без внимания я не мог. Труд этот, несмотря на помощь чтицы, потребовал много усилий, но, к счастью, ваше общество воспрепятствовало мне размышлять над этими предметами и вне часов, предназначенных для занятий, что было вечной бедой моей одинокой жизни.

– Я очень рада, что мое присутствие хоть чем-то вам помогло, – сказала Доротея, и, боюсь, в ее словах пряталась некоторая обида: она слишком живо помнила вечера, когда ей казалось, что мысли мистера Кейсобона за день погрузились в слишком большие глубины и уже не способны подняться на поверхность. – Надеюсь, когда мы вернемся в Лоуик, я смогу быть вам более полезной и научусь лучше разбираться в том, что вас интересует.

– Несомненно, моя дорогая, – ответил мистер Кейсобон с легким поклоном. – Сделанные мной заметки необходимо привести в порядок, и, если хотите, вы можете аннотировать их под моим руководством.

– А ваши заметки, – начала Доротея, которую эта тема волновала так давно и так сильно, что теперь она не сумела промолчать, – все эти тома... вы ведь теперь приступите к своему главному труду, как говорили? Отберете все важное и начнете писать книгу, чтобы ваши обширные знания послужили всему миру? Я буду писать под вашу диктовку или переписывать

и аннотировать то, что вы мне укажете. Ничем другим я вам помочь не могу. – Тут Доротея по неисповедимой женской манере почему-то вдруг всхлипнула, и ее глаза наполнились слезами.

Одного этого проявления чувств было бы достаточно, чтобы вывести мистера Кейсобона из равновесия, но по некоторым причинам слова Доротеи не могли бы ранить его больше, даже если бы она нарочно их выбирала. Она была так же слепа к его внутренним тревогам, как он – к ее, и ей еще не открылись те душевные противоречия мужа, которые дают право на жалость. Она не прислушивалась терпеливо к биению его сердца и знала только, как бурно стучит ее собственное. В ушах мистера Кейсобона слова Доротеи прозвучали словно громкое язвящее эхо тех смутных самообличений, которые можно было счесть простой мнительностью или призраками, порожденными излишней требовательностью к себе. Но такое обличение извне всегда отвергается как жестокое и несправедливое. Нас сердит, когда наши собственные, понижающие нас признания принимаются без возражений, – насколько же больше должны мы сердиться, услышав, как близкий нам наблюдатель облекает в ясные недвусмысленные слова тот тихий шепот в нашей душе, который мы называли болезненными фантазиями, с которым боремся, точно с наступающей дурнотой! И этот жестокий внешний обвинитель – его жена, его молодая жена! Вместо того чтобы взирать на бесчисленные буквы, выходящие из-под его пера, и на обилие изводимой им бумаги с нерассуждающим благоговением умненькой канарейки, она следит за ним, как соглядатай, и присваивает себе право злокозненно вмешиваться! Тут мистер Кейсобон был чувствителен не меньше Доротеи и, подобно ей, легко преувеличивал факты и воображал то, чего не было. Прежде он одобрительно взирал на ее способность поклоняться тому, что заслуживало поклонения, но теперь вдруг с ужасом представил себе, как на смену этой способности приходит самоуверенность, а поклонение сменяется критикой самого неприятного свойства, которая весьма туманно представляет себе прекраснейшие цели и никакого понятия не имеет о том, чего стоит достичь их.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.